



Тони Дювер

ОКОЛОТОК

Перевод

Валерия Нугатова



Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.4 Фр



Tony Duvert
Les petits métiers
District

Издательство выражает признательность
Ирине Тюриной за помощь и поддержку

Редактор: Дмитрий Волчек
Верстка и обложка: Дарья Протченкова
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

Copyright © Fata Morgana, 1978
Перевод © Валерий Нугатов, 2013

ISBN 978-5-98144-175-2

Содержание

МАЛЫЕ РЕМЕСЛА

Соплесос	9
Подтирщик	10
Часочёт	12
Стекольщик	14
Живодер	15
Писатель	17
Птицевод	18
Теребильщик	19
Попрыгун	20
Часовой	21
Судья	22
Цензор	24
Папенькин и маменькин сынки	26
Паромщик	29
Мыслитель	30
Снеговик	32

Гравер	34
Палач	36
Мечтописец	37
Музыканты	39
Врач	41
Криворукая прислуга	44
Колесарь	46

ОКОЛОТОК

Стройка	51
Персонаж	55
Окно	57
Метро	59
Плакат	62
Бар	66
Бордель	69
Городской сад, ночь	71
Рынок	73
Выход, конец	78

СЭМ-ГЕРОЙ 81

ТУПОГОЛОВЫЙ МАЛЬЧИК 101

МАЛЫЕ РЕМЕСЛА

*Посвящается
Жану-Пьеру Тизону*

СОПЛЕСОС

9

Он устанавливал свой насос у входа в школу и знал всех детей по именам.

Дедушка уверял меня, что в былые времена насоса не было: соплесос пользовался тростинкой, через которую втягивал соплю ртом. Он так искусно отсасывал соплю из ноздрей, ничего при этом не глотая, что шалуны заводили у себя не одну, а целых две козявки, только бы продлить эту восхитительную процедуру.

Работа с насосом была гораздо менее привлекательной. Помнится, некоторые мои товарищи даже начинали игнорировать соплесоса и сморкались в руку, пачкая тротуары и школьную форму.

ПОДТИРЩИК

Подтирщик носил на спине коробочку, где лежали нарезанные квадратиками газеты и ароматизированная туалетная бумага. С восходом солнца он обходил деревню и будил своей песней всех и каждого. Мы спешили позвать его к себе. Его ремесло считалось настолько презренным, что ему не разрешалось заходить в дом. Когда мы нуждались в его услугах, то выставляли задницу в дверной проем, прямо над порогом, где ставили полный ночной горшок. Ведь подтирщик складывал экскременты на ручную тележку. Тем не менее, он отказывался от детской неожиданности и поноса: в подобных случаях приходилось давать ему денежку, чтобы он все-таки вас подтер.

Подтирщик продавал свой улов говнюку, который, хотя и процветал (это был зажиточный крестьянин, нередко становившийся мэром), но стыдился своей работы и занимался ею по ночам, на окраине деревни. Там он перемешивал экскременты с водой и рубленой соломой и, после того как продукт немного настаивался, перепродавал его жителям деревни, которые унавоживали им свои поля и цветы на окнах.

Стремясь обогатиться, говнюк добавлял в удобрение слишком много соломы и воды. Благодаря этой прибыли, считавшейся вполне естественной,

должность говнюка продавалась с аукциона. В то же время подтирщик оставался всего-навсего скромной прислугой задниц и говнюка – им чуть ли не гнушались. Но ведь без подтирщика нет и дерьма. Однако маленькие люди не умеют защищаться и доказывать свою полезность.

ЧАСОЧЁТ

Ремесло часочета всегда в почете, ведь владельцы стенных часов хорошо знают цену доброму имени. Тем не менее, часочеты порою считывали время и с наручных, пусть даже марали при этом свою репутацию и портили глаза.

Бесполезно ожидать прихода часочета в первой половине дня: время должно медленно созреть, ведь только недотепы срывают его ранним утром. Мы дожидались, пока солнце не приближалось к зениту – и тогда наконец появлялся часочет.

Его приглашают в дом, он отряхивает ноги на пороге, здоровается, приподнимая шляпу с широкими полями, и заходит с серьезным и почтительным видом. Его усаживают на хороший стул перед часами, и, слегка сдвинув шляпу на затылок, чуть-чуть подперев пальцем подбородок, он вперяет взор в циферблат.

После долгой паузы часочет важно сообщает увиденное время, а затем встает и уходит, церемонно прощаясь.

Время становится темой для разговоров за семейным обедом. Во второй половине дня дамы пьют кофе и хвастливо вспоминают, какое время им сообщали в различные дни, – впрочем, женщины часто лгут, ведь есть время лестное, а есть и совсем нестоящее.

Затем кумушки пересказывают время друг другу, оно облетает всю деревню до самой мэрии-умывальни, где под удары валька о нем судачат даже с наступлением темноты.

Как бы то ни было, неучи презирали часочета и смеялись над ним на улице, однако он разгонял их, вскидывая голову с самоуверенностью чиновника, полезного богачам, и подлинного кладезя учености.

СТЕКОЛЬЩИК

Бывало, женщина, задавленная супружеской жизнью, становилась сварливее обычного. Но если в тот день являлся стекольщик, все снова налаживалось.

Этот улыбчивый, молодцеватый человек входил со своим запасом камней, отпускал шутку-другую, игриво хлопал вас по заднице, а затем, становясь в каждой комнате поочередно, спокойно разбивал все окна, осколки которых сыпались на улицу.

На грохот сбегались кумушки, дети бросались врассыпную, а мужа трепетали от страха: это были хорошие дни. Затем женщина, у которой случился нервный срыв, переезжала к соседке и жила там, пока в окна не вставляли новые стекла.

Поэтому в деревне можно было увидеть немало домов с разбитыми окнами, которые никогда не ремонтировались: таким способом мужа и дети избавлялись от своих женщин – пусть даже ценою простуды.

ЖИВОДЕР

15

Когда женщина рожала тринадцатого ребенка, обычай требовал отметить это счастливое событие большой попойкой. В жертву приносился другой ребенок, из которого готовили жаркое для пиршества. Однако этому жаркому должно было быть не меньше семи лет: если в доме таких детей оказывалось несколько, выбирали самого пухленького, а если не было ни одного, выпрашивали у соседа.

Затем приглашали детского живодера (обычно это был волчий пастух из общинного леса). Он окунал ребенка в тазик с очень горячей водой, для размягчения кожи, а потом натирал ее гравием, чтобы очистить поверхность и спустить кровь, поглощающую плохие жиры. Затем кожу снова отбеливали в ледяной ванне.

Ребенка подвешивали к крепкой ветке, и на авансцену выходили четыре помощника живодера. Первый становился напротив ребенка и корчил гримасы, пытаясь отвлечь его внимание, пока сдирали кожу. Этот гримасник должен был быть весьма искусным и хорошо разбираться в человеческих характерах, ведь банальные кривлянья не оказывали нужного эффекта – если они были чересчур нарочитыми, малыш, с которого сдирали кожу, трясся от смеха, а нож резал вкривь и вкось.

Тремя другими помощниками были две собаки и крепкий паренек. Этот паренек связывал собак и безжалостно стегал их кнутом: тьякнатье должно было заглушать крики ребенка, с которого сдирали кожу, когда работа уже подходила к концу и гримасы гримасника больше не действовали. Эти завывания битых собак и вопли ребенка с содранной кожей легли в основу местного полифонического пения в грубой деревенской манере, которое можно услышать на свадьбах.

После того как кожа была содрана, ребенка осторожно душили шнурком: если смерть наступает быстро, мясо становится вкуснее. Кожу подвергали химической обработке, а затем мыли и сушили: для сушки использовали другого ребенка такого же роста, которого зашивали в эту кожу и три дня, сменяя друг друга, пороли широкими ремнями. Благодаря этому она сохраняла форму тела и приобретала удивительную прозрачность.

Затем ее распарывали, заново сшивали, волосы причесывали, и кожа так хорошо смотрелась, что с виду ее можно было принять за полого ребенка. Эти кожи очень дорого продавались страстным любителям – священникам, женщинам, школьным учителям, морякам дальнего плавания.

На почте у писателя были списки тех, от кого он получал письма и от кого их не получал. Пользуясь этим перечнем, писатель отправлял анонимные послания: грубые и оскорбительные – дабы умерить гордыню тех, кто был завален корреспонденцией, либо изысканные и замысловатые – чтобы развеселить тех, кто не получал ничего.

Он не подписывался, но умел подделывать любой почерк, и всегда казалось, что письмо, которое вы получили, пришло от знакомого. Вы мучительно размышляли над этим. Это письмо от писателя? В таком случае его следовало выбросить из головы. А что если его прислал друг, сосед, враг, забывший подписаться? Тогда нужно ответить, встретиться, выяснить.

Из-за этой двусмысленности каждое письмо вызывало в деревне ажиотаж, приводило к встречам, любовным историям и бурным ссорам, которые иначе никогда бы не произошли. Если бы не писатель, мы бы зациклились на собственной судьбе и без помощи этой лжи так никогда бы и не узнали, кто мы на самом деле.

ПТИЦЕВОД

Он переходил из одного сада в другой и ухаживал за деревьями (дело в том, что у нас не любили фрукты, а предпочитали мясо и пироги).

Птицевод со знанием дела расставлял ловушки, группировал породы деревьев, прививал, скрещивал, словно восторженный любовник: и эти букеты, фрукты, ароматы приманивали с высоты небес несметные полчища птишек, каждая из которых добавляла в общую картину собственный цвет и голос.

Ну а когда появлялись первые вишни и нашу кожу ласкало прохладное бледное солнце, мы разгоняли зимнюю тоску, поедая живьем птичек, попадавших под руку на деревьях.

В детстве я так любил ими лакомиться, что даже не выплевывал перышки и долго пережевывал эти пушистые трепетные создания, наевшись до отвала и раздувшись от плодов, пока их клювики у меня между губами допевали свою песенку.

ТЕРЕБИЛЬЩИК

В нашей деревне не любили, когда дети предавались одинокому наслаждению.

Поэтому у нас был детский теребильщик. Если мы узнавали, что какой-нибудь ребенок себя трогает, то вызывали теребильщика, который уводил паренька или девчонку в кусты либо в амбар – смотря по погоде – и там настолько умело ласкал бедного малыша или малышку, что те больше не могли получить удовольствие в одиночку. После нескольких таких сеансов ребенок приходил к теребильщику сам.

Поскольку ожидание перед его домом растягивалось до бесконечности, нетерпеливые парнишки рассеивались по всей округе попарно, по трое или даже целыми компаниями. Но эти ребяческие удовольствия были не в пример слабее тех, что доставлял теребильщик.

Ремесло теребильщика не приносило большого дохода и смертельно изматывало человека, занимавшего эту должность: ведь он одновременно позволял ласкать самого себя, чтобы дети не предавались порочной праздности. Если теребильщик не умирал от усталости, он страдал импотенцией и с возрастом нередко становился подтирщиком. Это было лучше, чем ничего.

ПОПРЫГУН

Попрыгун был свадебным шутом и участвовал в брачной ночи. На нем лежала обязанность лишать девственности мужей, пока те лишали девственности своих жен.

Его сопровождал молодой парень, который подготавливал его пенис. Один из этих паренюков наследовал в зрелом возрасте должность попрыгуна – если, конечно, он был красив, хорошо воспитан и имел большой член.

Однако в действительности жители деревни жульничали с этим старинным свадебным обычаем.

Обеспеченные мужья подкупали попрыгуна, чтобы тот не содомил их в брачную ночь. Что же касается анальной крови, наутро они показывали носовой платок, в котором попрыгун раздавливал пиявку, приложенную к ягодице ученика.

А бедные молодые люди, лишённые возможности подкупить попрыгуна, иступленно упражнялись между собой в содомии, дабы в знаменательный вечер их не застали врасплох.

Но попрыгуну не на что было жаловаться. Позднее эти молодые люди, тоскуя по юношеским утехам, тайком приглашали к себе общинного попрыгуна и с лихвой вознаграждали его за услуги. Это и служило залогом его процветания, ведь жёнятся у нас не так уж часто.

ЧАСОВОЙ

21

Хотя наша деревня стоит на отшибе, мы любим принимать гостей. Но кто отправится по дороге, ведущей сюда? Тем не менее, случалось, что главную улицу переходил верблюд, нищий, вор, ребенок, бредущий куда глаза глядят, или влюбленный мул, страдающий из-за толстого бесплодного пениса. Нам хотелось думать, будто они приходили намеренно.

Поэтому на холме рядом с источником мы поставили часового. День-деньской смотрел он во все четыре стороны света. Его зоркий взгляд различал малейшее движение человека или животного: едва вдалеке оживал незнакомый силуэт, часовой бил тревогу, опасаясь, что заблудившийся путник случайно *не* забредет в деревню.

Но усердие часового почти всегда оказывалось напрасным: сколько бы ни воображал он иные миры и как бы бешено ни звонил в свой колокол, те редкие обнаруженные им чужеземцы, что скитались поодаль от наших земель, на поверку оказывались одними из нас – просто смелее других.

СУДЬЯ

Если кому-то не терпелось совершить правонарушение или преступление, он сначала отправлялся в тюрьму. На этой милой птицеферме собирали, считали и мыли яйца, после чего наблюдали, как щекочут друг друга кролики с большими рыжими ушами. Тюремный охранник регистрировал поступление, но с собой нужно было приносить деньги на еду. В заключении вы находились до тех пор, пока имели возможность оплачивать пансион (это недорого), и спустя несколько дней, месяцев или лет выходили со справкой о судимости.

Потом вы сразу же отправлялись в контору судьи выбирать преступление, показывали справку, которую он тщательно изучал, дотошно расспрашивал о ваших пристрастиях, желаниях, устремлениях, а затем уходил в подсобку и долго там рылся. Возвращался он с пачкой подробно описанных правонарушений и преступлений: каждое соответствовало сроку, проведенному вами в тюрьме. Судья советовал совершить то или иное тяжкое правонарушение или совместить два полегче, уточнял, как можно отягчить или смягчить злодеяние, и затем вы сообщали ему, какое из них предпочитаете. Он записывал ваше заявление, вывешивал его у себя в витрине и желал вам удачи.

Вам оставалось только бродить по деревне и в поле, дожидаясь удобного случая. Приходилось хитрить, ведь все были предупреждены. Конечно, никто не имел права вам мешать, поскольку вы уже заплатили, но каждый мог увернуться или спрятаться. Однако самые терпеливые злоумышленники в конце концов добивались успеха, хотя их незаметно подталкивали к полезному преступлению: обокрасть богача, высечь скупца, ограбить несносного человека, вывести на чистую воду шарлатана, утопить мать, перерезать глотку моралисту.

Некоторые кандидаты в преступники были глупцами, но судья смотрел на это сквозь пальцы. Так, например, один из нас мечтал ограбить банк. Чтобы получить такую возможность, он отсидел три года в тюрьме и сосчитал несколько миллионов яиц. После чего судья предложил ему совершить налет, и глупец ушел, сияя от счастья. Вот только банков у нас отродясь не бывало. Наш протачок ограничился тем, что украл в одном месте репу, а в другом свеклу, изнасиловал пару старух, которым он приглянулся, да попробовал напугать пару младенцев, но те блаженно заулыбались. До самой смерти он так и не успел израсходовать свой тюремный срок. Коли не блещешь умом, лучше уж оставаться добропорядочным человеком.

ЦЕНЗОР

В деревне жили не только неграмотные селяне: каждый базарный день между загоном для гусей и ларьком со спиртными напитками, вокруг которого были расставлены лавки для пьянчуг и торговков, ставил свою ослиную повозку цензор. Ударив пару раз дубиной, он заставлял бедное животное кричать, и тогда мы понимали, что цензор готов приступить к работе. По совместительству он также был книготорговцем, но основное его ремесло заключалось в том, чтобы осторожно делать купюры в книгах при помощи длинной бритвы – еще более чистой и блестящей, чем у цирюльника. Как многие люди, ловко орудующие пальцами, он не умел читать, но это пустяки, ведь никто и не просил его оценить то, что он цензурировал. Ему просто приказывали, протягивая книгу, вызвавшую недовольство:

– Вот, вырежи мне это и это, и еще эту страницу, и эти две строчки, и еще вон те две.

Так мы избавлялись от непонравившихся отрывков. Но цензор был единственным человеком, который покупал и перепродавал книги – мы брали их только у него и ему же возвращали. Поэтому от изданий, слишком часто переходивших из рук в руки и сокращаемых в зависимости от вкусов читателей, вскоре оставался лишь пустой картон-

ный переплет, с которого порой исчезали название (бывают плохие названия) и даже фамилия автора (встречаются неприемлемые фамилии).

Зато цензор заботливо сохранял страницы, которые мы заставляли его вырезать, складывал их в ящик и затем перепродавал: три гроша за пригоршню, если вытаскивать наобум, и пять, если тщательно выбирать.

Одним словом, чтива нам хватало.

ПАПЕНЬКИН И МАМЕНЬКИН СЫНКИ

Когда в пору моей юности мы отказались отмечать рождение тринадцатого ребенка, сдирая кожу с одного из других, ребяташки тотчас решили, что им все позволено. Они не хотели больше терпеть порку бичом со свинцовыми шариками и предложили завести столь замечательный обычай, что деревенский совет мгновенно согласился.

Бедные родители! Ведь советы состоят из стариков, которых интересуется лишь свеженький эпидермис. Как будто рубцы от бича на детских ягодицах не были столь же прекрасны, как морщины на лицах стариков, и не символизировали, подобно этим лицам, обретение мудрости!

В общем, у нас запретили бить мальчиков (но не девочек, и это справедливо). Точнее, родители больше не имели права наказывать своих собственных парнишек и вынуждены были обходиться дежурными детьми, что ожидали на видном месте в аллее.

Мальчики для битья установили между собой очередность и каждую неделю парами сменяли друг друга. Они возвели навес, под которым расставили табуреты, а затем надели атрибуты: папенькин сынок прицепил на шею дряблый, капа-

ющий член хряка, а маменькин повесил на себя старое говяжье сердце, отваренное и мумифицированное.

Они-то и становились теперь жертвами семейных драм, спровоцированных другими детьми.

Например, где-нибудь в деревне паренек порвал свою новую одежду, но его мать сдерживала острое желание отвесить оплеуху и просто кричала мужу:

– Эй, посмотри-ка на своего сыночка! Пошли! Идем со мной! Я должна дать кому-то оплеуху! Пошли к папенькину сынку!

27

Подмастерье или школьник весь день гулял то ли в поле, то ли в лесу, и тогда его отец, сжимая кулаки, орал матери:

– Эй, посмотри-ка на своего сыночка! Пошли! Идем со мной! Я должен кого-то отлупить! Пошли к маменькину сынку!

И, даже пальцем не тронув своего провинившегося сына, они отправлялись к небольшому навесу, где терпеливо ждали единственные дети, которых можно было бить: те играли в карты, в шарики, в курносый-нос, в ущипни-за-брюхо или в проснувшуюся свинку. Родители приносили с собой кувшин вина.

Они ставили его перед ребенком, которого собирались избить. Паренек пил, хохотал, смеялся над физиономиями, и это притягивало народ. Потом мать, к примеру, восклицала:

– Ах, папенькин сынок! Ты сделал то-то и то-то! Каково!

Папенькин сынок быстренько проглатывал вино, а мать била его:

– Вот, папенькин сынок! Вот тебе! Получай! Получай! Получай! Каково!

Но затем свидетели прерывали наказание, вразумляли взрослого и успокаивали ребенка.

Так было в самом начале. Позднее сценарий изменился. Мы стали слишком чувствительными. Теперь тому из родителей, кто хотел избить дежурного ребенка, мешали супруг или супруга, которых возмущала подобная несправедливость:

28 – Старый пидорас! Старая проשמандовка! За что ты бьешь его? Оставь его в покое! Это же твой мерзкий сынок сделал то-то, и то-то, и то-то! Какково!

И, забыв о дежурном мальчике, они свиреподрались, точно два кобеля, позарившихся на одно подхвостье. Тогда маленький мальчик, полностью успокоившись, неспешно смаковал свежее вкусное вино из кувшина и начинал с рискованной грацией покачиваться на заду, пока в его мутных, сонных и слегка насмешливых глазах кружились в танце мужчина и женщина, тузившие друг друга.

Чтобы добраться до лесов, лугов и ближних долин к западу от деревни, необходимо пересечь реку с очень широким, но неглубоким руслом. Ее можно перейти вброд практически в любом месте, ступая по большим камням, торчащим из воды. Поэтому моста никогда не строили.

Но по весне и осени (не считая оттепелей в холодный сезон) уровень воды поднимался, причем так быстро и прихотливо, что половодье могло застать вас прямо посреди перехода.

Поэтому мы учредили должность паромщика. Если вы подскользнулись или вас внезапно уносило паводком, этот человек выходил из своего укрытия и, сочувственно наблюдая за вашими мытарствами, горячо подбадривал в голос, чтобы вы продолжали бороться за свою жизнь. Когда же вы наконец добирались до берега, он поздравлял вас, усаживал сушиться у своего костра, угощал вкусным супом, вкусным хлебом, вкусным салом, вкусной виноградной водкой.

И напротив, если вы тонули, он безутешно вздыхал, глядя на вашу агонию, а по завершении драмы отцеплял свою лодку и вылавливал ваше тело багром. За каждый труп, поднятый из воды, паромщик получал от общины вознаграждение.

МЫСЛИТЕЛЬ

Когда возникает какая-нибудь мысль, можно, конечно, вытерпеть четыре-пять дней поноса, бессонницы, импотенции, а порой и булимии, но при этом всегда испытываешь унижение. Поэтому рано или поздно мы направлялись к общинному мыслителю.

Этот философ жил в свинарнике из сухих кирпичей, расположенном возле кладбища, на распутии. Он не имел права показываться нам на глаза и выходил только по ночам, пряча лицо и надевая войлочную обувь, чтобы собаки не залаяли. Дверь ему заменяла могильная плита без надписи, и вечером, когда он сдвигал ее перед выходом, она валилась с тяжелым глухим грохотом, который полошил всю деревню, возвещая о приходе мыслителя перепуганным карапузам, старухам и совокупающимся компаниям. При этом каждый втягивал голову в плечи – точно курица, если с неба низринется ястреб.

Когда кто-нибудь хотел посоветоваться с общинным мыслителем, он делал это исключительно днем: подходил к пристанищу философа и говорил сквозь кирпичную стену, стараясь как можно лучше изложить терзавшую его мысль. И мыслитель отвечал, качая в своей хижине котел-

ком, выпуская кишечные газы, ломая кость или хрипло напевая обрывок песни – средство не имело значения. С тех пор вопрошавший постоянно вспоминал звук, вызванный его откровенным признанием, и впредь только об этом и думал. Вскоре к нему возвращалось здоровье.

Поскольку никому не хотелось быть мыслителем, это ремесло приберегали для калеки, не способного защищаться. То был незавидный удел, последняя ступенька жизни перед смертью. Однако многие калеки сами добивались этой должности, когда в один прекрасный день узнавали, что в деревню направляется разделщик калек. Накануне ночью они выходили на улицу и подстерегали гулявшего общинного мыслителя, дабы уничтожить его и занять его место – их единственный шанс выжить. Но калек было много, одного этого убийства оказывалось недостаточно, и они принимались убивать друг друга: поэтому официальным мыслителем становился самый сильный из уродцев. Ведь мы ни разу не видели, чтобы двое калек объединились и совместно занимали пост мыслителя: им попросту не хватило бы еды.

СНЕГОВИК

Когда я был маленьким, один мальчик не хотел расти. Он был старше нас, но интересовали его мы, дети. Его не стали отдавать в учение и просто наняли на фермах. Из двух предложенных работ он выбирал ту, что способен выполнить ребенок, а от другой отказывался: его считали хитрым.

Тем не менее, он всегда находил работу. Этот мнимый ребенок соглашался на то, на что не соглашаются настоящие дети – как за уроки, так и за ласки либо пинки. Иметь такого идиота – большое счастье: он хорошо зарабатывал на жизнь.

Из всех его ремесел мы, дети, предпочитали ремесло снеговика, которым он занимался зимой, когда нечего было делать в поле. Во время уроков он колол дрова, сносил пощечины от женщин, насильно откармливал гусей перед Рождеством. Но с наступлением темноты он приходил и дожидался нас возле школы, на черно-белой улице, где мокрый туман разносил запахи из дымоходов. Он засыпал себя до пояса снегом, словно песком, только стоя. Нам оставалось закрыть верхнюю часть. Мы превращали его в огромную снеговую статую, толщиной в три человека: он божился, что внутри прекрасно дышится, и малыши из любопытства засовывали нос внутрь снеговика. Носы

мокли, щеки пылали, ноздри горели, блаженные лица изумленно смеялись, словно увидели что-то небывалое – диковинное!

Потом снеговика разрушали. Старшие мальчики часто прятали камень в снежке, который бросали: простачок их смущал, они боялись стать такими же и швыряли со всей силы, целясь в лицо. Поначалу снег смягчал удары, но затем осыпался, и тогда показывался ярко-красный кусочек лица – красный от крови. Спереди вскоре расплывалось большое алое пятно. Малыши из робости бросали едва слепленные снежки, остальные пинали его под зад, чтобы обрушить снежные глыбы и потом закричать: жопа ну у тебя и жопа смотри какая жопа!

33

Когда совсем темнело, мы уходили. Мальчик высвобождался полностью, протирал раны снежком и искал под фонарем небольшие подарки, которые дети раскидывали специально для него: ведь мы оставляли всякий раз орехи, свисток, птичье перо, оцепенелую лягушку, даже с еловым вкусом, рогатку, листик, баранью косточку, карандаш, красный плод, букет из цветочков, пробивающих снежный покров перед самой весной. Он возвращался один, с полными руками, из носа текла кровь, взгляд был дерзновенным от счастья. Мы любили его.

ГРАВЕР

Мы показывали старые номера прежних владельцев, выгравированные на фронтонах некоторых домов. Эти произведения искусства насчитывали несколько веков, и о них рассказывали следующую историю.

В былые времена жил ребенок, который каким-то чудом умел произносить слово «нет» с самого рождения. Но, хотя он все понимал, так и не удалось научить его ни одному другому слову.

Он вызывал всеобщее восхищение, когда писал буквы «Н», «Е» и «Т», простые либо украшенные, в том возрасте, когда обычные грудные младенцы едва начинают сосать свои ножки.

Маленьким мальчиком он приводил в восторг мать, которая прикидывалась несчастной лишь для того, чтобы набить себе цену. В душе она радовалась, что ответы ее ребенка были настолько предсказуемыми, и, внешне ее жалея, втайне мы ей завидовали: многим женщинам тоже хотелось иметь карапуза, который не говорил бы ничего лишнего, но они боялись слишком уж сильно об этом мечтать, ведь младенец мог оказаться и девочкой.

Наш мальчик настолько преуспел в своем искусстве, что, став взрослым, разбогател, рисуя буквы «Н», «Е» и «Т» в красивых манускриптах для мо-

настырской братии. Он также высекал их в камне, вырезал на дереве, на заказ выводил инициалы вельмож и деревенских жителей с подходящими именами, каковых в ту пору было несколько. Один хорватский принц даже пригласил его в свой дворец и пожаловал пенсию.

Никто бы не поверил, что этот гравер ведет точно такую же жизнь, как и все остальные люди. На старости он даже умудрялся говорить «нет» столь находчиво, что кумушки и дети считали его святым. Он научил своему искусству нескольких подмастерьев, не оставил никакого потомства и умер молча.

ПАЛАЧ

Еще мне рассказывали о легендарном ребенке, который всегда говорил «да». Впрочем, он знал и другие слова. Просто «да» было его любимым ответом, позволявшим проказничать, не навлекая на себя упреков.

С самого начала он принес родителям столько горя, что отец бросился в колодец: это был общинный колодец, и вода в нем полностью испортилась. Ну а мать повторно вышла замуж за мельника, и он от этого умер.

Затем мальчик рос в обществе свиней, за которыми присматривал, а также солдафонов, женщин и священников, с которыми беседовал. Одним словом, он стал палачом и отрубил семьдесят голов.

После того как он впал в маразм, его «да» превратилось в вопрос, так что он непрерывно твердил «Да? Да?» и одновременно колол и щипал соседей, прохожих, малышей, путешественников.

Когда он умер, мы вздохнули с облегчением – так глубоко страдали мы от этого зеркала, что отражало каждого жителя деревни. Мы бросили его труп на съедение волкам, и с тех пор они стали кровожадными.

У нас было принято иметь свой портрет, который можно показать. Фотография, даже в старинном вкусе, для этой цели не подходила. Нас должен был изобразить творец воображаемых миров. Этот человек – всего-навсего художник, весьма умелый и крайне покладистый, хоть и неглупый – всегда был желанным гостем.

Он жил вместе с нами и ел нашу пищу, у него не было собственного жилья, он сам изготавливал свои инструменты, сам собирал, обрабатывал, растирал минералы и краски, а также занимался любовью со всем, что движется, смотря по настроению хозяев, их детей и скотины.

Его принимали у себя на то время, пока он писал заказанный портрет. Ему не нужно было вас видеть, но он должен был вас слышать. На самом деле, эти портреты не воспроизводили модель, а воплощали образ того, кем мы мечтали быть.

Женщина или старая дева говорила: «Мне хотелось бы иметь маленький носик, большие, добрые и живые глаза, широко расставленные зубы, чтобы губы изгибались вот так, когда я хочу понравиться, животик, ляжку, изящную руку». Художник изображал, какими мы желали себя видеть, а мы смотрели на результат и добавляли: «Нет, мне хочется еще небольшой локон вот здесь,

на лбу, румяные скулы, блестящие колени и выгнутые ступни, левая слегка оттянута назад, просто согнута вот так». Художник дорисовывал.

Зрелые мужи были такими же кокетливыми, как и женщины: вы больше нигде не встретите столько мужчин, мечтающих быть красивыми, как в нашей деревне.

38

Едва портрет был закончен, его выставляли на самом видном месте жилища. С тех пор мы легче переносили самих себя и от этого терпимее относились к другим. Вы приходили к кому-нибудь в гости, а хозяин лукаво прятал лицо и говорил:

– Подождите, подождите! Взгляните-ка на меня!

И он подводил вас к своему изображению. Это был он – ни бесформенной головы, ни брюха чревоугодника: идеальная красота, которая должна распускаться в постели, прогуливаться посреди ясной весенней свежести, тянуться к лицам любимых. Это и впрямь предназначалось для вас.

– Посмотрите на меня!

Мы смотрели и оценивали другого по той внешности, которой он желал обладать, а не по тому ходячему уродству, каким наградили его случайность или возраст. Портрет был произведением самой модели – необычайно интимным изображением того, какой бы она предпочла стать, если бы только могла. К тому же портреты самых несравненных красавиц редко писались по просьбам красавиц настоящих. Если люди считали себя красивыми от природы, они требовали максимального сходства, и потому изображение получалось заурядным, хвастливым, перегруженным милыми пустяками. Зато у самых уродливых портреты были настолько красивы, что трогали до слез: уж эти-то образины разбирались в красоте.

По праздникам в деревне играла музыка. Профессиональных музыкантов у нас не было: эту обязанность выполняли некоторые жители. Они входили в закрытую гильдию, внутри которой тайно передавалось искусство игры и даже сами инструменты.

Концерты устраивались в специальном здании, где была всего одна комната, крыша и много окон, всегда закрытых. Когда приближалось время выступления, мы обступали этот дом, цеплялись за окна, давили друг друга, взбирались друг на друга, терпеливо ждали, страдая от щекотки, вдыхая чужие запахи, чувствуя ломоту в ногах.

Наконец музыканты выходили на середину комнаты и располагались поудобнее, как будто они были здесь одни. Распаковывали свои инструменты и, подстегнув любопытство публики долгими приготовлениями, начинали играть.

По крайней мере, мы видели, как они играли, – ведь слышно ничего не было. Все инструменты были беззвучными, а искусство – чисто жестикующим. Каждый из нас сам воображал – исходя из позы музыканта, размеров и формы его инструмента, живости игры, выражения лица – тот звук, что мог звучать внутри помещения.

Вокруг дома царила сверхъестественная тишина, которой никогда не добиться без этой тишины внутри.

Концерт продолжался до самых сумерек. Мы возвращались, уставшие от впечатлений, гама, и мысленно напевали все самое прекрасное, что воображали, наблюдая за музыкантами сквозь стекло. Наконец-то у нас появлялась возможность поднять шум, и ею спешил воспользовался самый крикливый.

Я был пареньком, пышущим здоровьем, лазал по деревьям, ломал носы и мог проглотить целого страуса. Я видел врача всего раз в жизни (он прятался, чтобы мы ему больше доверяли).

Когда я воровал яблоки, меня укусила змея. Эта тварь прилипла к моей коже, обвила запястье, и я был еще таким маленьким, что ее хвост бил меня по боку. Это слегка неприятно, но меня поразило, какая она прохладная и гладкая на ощупь – красивая мышинная головка с содранной кожей, высушенная, плоская, без усов и ушей.

Я побежал на ферму к врачу. Слово «ферма» тут не совсем подходит, потому что он выращивал только животных для колдовства, да и слово «врач» тоже неточное, поскольку в наше время его называли бы целителем или колдуном, но эти нюансы несущественны, раз уж наши беды всегда равновелики шарлатанам, которым мы за них платим.

Доктор снял змею с моей руки, произнес «коз, тоз, зоз» и ловко потянув за голову. Он спрятал рептилию в карман с таким видом, будто она опасна, и очень громко задышал. Теперь-то я думаю, что это был малолетний ужик, который по своему любил людей: щенки ведь тоже кусают их до крови, чтобы заставить улыбнуться. Но никог-

да не стоит работать за гроши: у моего отца было пять стельных коз, а жизнь ребенка куда важнее козленка. В общем, змея была опасна. Я рассказал бы об этом папе, не предпочитай он свой скот собственному потомству.

42 Врач вытащил из курятника зеленого петуха, зажал его коленями, загнул ему голову между ногами и принялся ощипывать зад. Какие красивые перья! Мне так захотелось их получить, что я протянул укушенную руку. Но врач поклялся, что они наводят порчу и оставил все у себя. Змея перекатывалась у него в кармане, он постукивал, чтобы напугать ее, и мне тоже было страшно.

Наконец он взял петуха, свернутого калачиком, и приставил его гузку к моей ранке. Потом помассировал, сдавил и отпустил живот птицы, чтобы гузка всосала яд, если он там был. Тем временем врач объяснял:

– Если петух умрет, значит, змея была ядовитой, а если выживет, значит, и ты не умрешь.

Это рассуждение было детским, и я в него поверил. Мы наблюдали за петухом, и до самого вечера я ждал вестей, очень тревожась за свою жизнь. Но петух остался жив и здоров: на его обнаженных ягодицах все так же проступали розовые и желтые прожилки – пусть даже он стыдливо прятал зад в соломе.

Через месяц петух снес пергаментное яйцо, откуда вылупилась какая-то очень злобная ящерка, которую мой целитель окрестил кокодрилом. Он сказал, что это обычный результат оплодотворения через анус. Я покраснел: после того, что мы, дети, вытворяли друг с другом, мы должны были откладывать кокодриловые яйца каждый вечер. Но врач обрадовался: он утверждал, что зубы этой свирепой рептилии, растертые вместе с желчью

волчицы и одним буасо моли, склоняют женщин к браку. Некоторые наивные влюбленные покупали их за большую цену, а так как вскоре они об этом жалели, то приобретали затем и противоядие.

Антидотом служило пюре из вербены, где были вымочены бобровые яички. Врач истреблял этих бедных зверьков, которых мы так любили, холостил и презрительно выбрасывал тушки, а мы собирали шкурки.

Считается, что бобры ближе к обезьянам, нежели к водяным спаниелям. Эти понятливые животные быстро сообразили, почему за ними охотятся, и, едва заметив врача на берегу реки, спасали свою жизнь, отрывая у себя тестикулы. Врач собирал в траве окровавленные яйца, а патроны в ружье приберегал для самых строптивых.

Но самыми строптивыми часто оказывались бобры, которым уже нечего было терять. Эти смышленные зверьки, недовольные тем, что их убивали ни за что ни про что, вскоре поняли, что́ следует делать: вместо того чтобы убежать, они ложились навзничь и раздвигали ляжки, повернувшись лицом к врачу и отчетливо демонстрируя результат кастрации. Их не трогали, и тогда они поднимались и уходили с чрезвычайно обиженным видом. Но врач редко извинялся, так как был очень самодовольным.

КРИВОРУКАЯ ПРИСЛУГА

Наши матушки порою бывали помешаны на уборке, а ведь порядок в доме – подлинное бедствие. Муж с детьми прячется в кабинете, а друзья боятся приходиться, напуганные мегерой, что правит здесь со шваброй в каждой руке, половой тряпкой в каждой туфле и пучками перьев в волосах. Где еще насладиться покоем, почувствовать себя, как дома, если не дома? Но горгона, оцетиненная скребками, терками, выварками, иголками и тряпками, устраивает домашнюю горячку во всех углах каждой комнаты. Она готова запустить ноготь в мышиную норку и выковырять оттуда обглоданные крошки или выпавшие усы!

Нам не спрятаться даже в хлеву: она натирает до блеска коров, закутывает их ягодицы и прочищает их огромные уши. Эта подозрительная баба с портняжным азартом рядит нас в странное барахло, придающее дурацкий вид, а если солома вдруг испачкает нашу одежду, раздражается громогласными воплями.

Нет, чтобы избавиться от всего этого, надобно завести лучшую из прислуг, самую дальновидную из служанок – криворукую.

Когда мать видит свою соперницу, она не взрывается. Ведь она не вправе отказаться от поединка и полна решимости победить. Самомнение домо-

хозяек! Криворукая прислуга – чудо изворотливости, с которым никто не в силах совладать.

Этим ремеслом занимаются в любом возрасте. Даже очень старая криворукая прислуга остается в услужении, а некоторые молоденькие девочки быстро успевают поднатореть в своем деле.

Криворукая прислуга трудится не покладая рук. Она следует повсюду за своей хозяйкой, полагая, что улучшает ее работу. Заново намыливает посуду, пока та не выскальзывает из пальцев и не разбивается на полу; заново трет белье, пока оно не распадается на куски под ее щеткой; драит паркет, пока на нем не остаются рытвины; придает блеска стеклам, заливая их растительным маслом; так ревностно подтирает ребятишек, что те повторно гадят в трусы; по семь раз переваривает суп; перештопывает одежду, пока та не становится вдвое толще и вдесятеро темнее; моет, скоблит, скребет и завивает хозяйку, пока та не превращается в горшок с требухой. Потом эта мегера переделывает нескончаемую работу криворукой прислуги, устраняет ущерб, та его опять наносит, а хозяйка устраняет его заново, до тех пор, пока устранить его становится уже невозможно.

Посреди сада мало-помалу вырастает гора мусора из домашних предметов, которыми больше нельзя пользоваться. А изнуренная, побежденная мегера в свой черед расстается с жизнью. Остается лишь зашвырнуть ее покрытый рубищем, озлобленный труп на груды отбросов.

Обычно на все это уходило не больше недели. Криворукая прислуга наконец возвращалась к нам в укрытие, получала свое содержание, обнимала нас и отправлялась прислуживать в другое место. А мы недоверчиво, взволнованно, проворно и робко возвращались домой.

КОЛЕСАРЬ

Мы были домоседами и не любили выходить из дома: лишь немногим жителям моей деревни хватало смелости покинуть родину.

Но порой один из нас испытывал подобное желание и целыми месяцами, даже годами рассказывал друзьям и окружающим о своем замысле. Гнетущая перспектива: он должен был заплатить колесарю.

На самом деле, никто не хотел уезжать: говорившие об этом просто впадали в уныние и надеялись, что в конце концов им помогут. Таков был обычай. Мы устраивали складчину, выслушивали грустные речи горемыки и в страхе принимались ждать.

Наконец, как-то вечером он заявлял, что завтра на рассвете уезжает и что нужно запрячь повозку. Все молча соглашались. Пора было известить колесаря и обсудить цену.

На рассвете повозку оставляли на выезде из деревни. Тот, кто собирался уехать, неторопливо приходил холодным и хмурым утром, забросив пожитки на плечо, и никто его провожал. Он грузно садился на повозку, сжимал в руке поводья, тоскливо оглядывался и вполголоса понукал лошадь.

Тотчас из-за дерева выскакивал колесарь – борода торчком, глаза бешено сверкают, изо рта вылетает брань – и вонзал в колесо огромный стальной прут. Возница для вида протестовал, а колесарь бранился пуще прежнего, глаза у него дьявольски разгорались, а из бороды сыпались искры. Тогда водитель начинал рыдать от тайной радости: он был спасен. Он потихоньку возвращался в деревню, и все жители выходили ему навстречу. То был волнующий момент. Я присутствовал при этом лишь раз, когда был маленьким. С тех пор люди уезжают навсегда, по очереди и в одиночку, а никакого колесаря больше нет.

ОКОЛОТОК

СТРОЙКА

51

Грузовики. Машины. Строят дома. Эвакуируют раненых. Наступает тишина. И ночь.

У некоторых рабочих был понос, они сидели в углу на корточках.

Дети играли. Дни проходили. Высились кучи песка, похожие на гигантские муравейники. Для раствора, для детей. Ясли построили, но не закончили. Не было пола – дети провалятся, ни подвала, ни почвы, ни земли: дети попадут в ад.

Убирали объявления, где говорилось о строительстве, новых домах. Их не сжигали, а складывали на тачку и отвозили в лачугу, со всех сторон покрытую гофрированным железом. На крыше лежал снег. Под жаровней снег таял, вода вымывала канавки, уносила мелкий гравий, что скапливался поодаль – на краю тротуара, у остановки такси.

Мы привыкали. Подходили к домам. Проводили по ним руками, ногтями, возможно, оставляли следы крови. Белесые и землистые. Эта кровь разъедала двери, стекло, искусственную древесину, пластмассу, сталь, мы входили, выходили, трогали. Оставляли пятна пота.

В полдень женщины кричали, дети возвращались из школы. Потом женщины кричали, дети уходили. Потом женщины кричали. Они шли в парикмахерскую и красили волосы. Им сушили го-

ловы. Они читали журналы, изучали фотографии голов. Напротив парикмахерской – вся улица как на ладони. Снег. Прохожие и клиентки смотрели друг на друга сквозь витрину и отводили взгляды. Все возвращались домой, темнело. Дети возвращались. Женщины кричали, тарелки звенели, продукты готовились.

На улице было тихо. Проезжали машины. Дети. Газеты были распроданы. Никого не осталось.

52 Переставляли стулья, накрывали на стол, тарелки звенели на столах, горел газ, горело электричество.

Дерево, металл, ткань были искусственными. Пожар в головах, падавших на подушки, белые или в крупный веселенький цветочек, с серой выемкой по центру. Точно краска газет, пот на ладонях, овощи, одежда на спинках лакированных пластиковых стульев.

Шел дождь. Шторы были опущены. Огни не светились, кроме поездов на горизонте: вокзал совсем близко, под боком – мелькали окна. Время для совокупления, серая фигура, живот, веселенькая подушка. Сигареты возле кровати гаснут, из-за толчков в вагонах падает пепел, он припудривает серую одежду, руки, ляжки, простыни. В тишине.

Разгружали еще один грузовик. Блестящие длинные черные трубы складывали, будто бревна, в грязь – красную или оранжевую, цвета навоза, крови. Сверху, на весу, клали трубы поменьше, иногда коленчатые. Сверху усаживались смуглые хмыри с заостренными носами, открывали котелки, ели на трубах, ссали за ними. Новая стройка.

Летними ночами на улице смеялись. Юные голоса с нежными, мяукающими связками, и другие – хриплые, вязкие, раскатистые: они смешивались, будто вылетали из одной глотки. Откликались третьи – резкие, высокие, пронзительные

крики женщин, невытых девчонок. Они удалялись, исчезали, словно устав смеяться – грудь надрывалась от хохота, скрывались куда-то за топкие улицы, блестящие в свете больших фонарей, или окон, или вон той новой стройки, где был темный, оранжевый, мрачный котлован глубиной метров двадцать.

Потом уже больше не смеялись. Ждали рассвета.

Светало. Дети кричали. Другие плакали. Третьи смеялись. Это был тот же крик. Дети есть дети.

Их было слышно.

А женщины кричали. Неплачущие, несмеющиеся, материнские голоса. Суровые, резкие, громкие, эти женщины в пальто, черных, темно-синих, коричневых, словно анус, морщинистые голоса, в морщинах – ресницы, благопристойные мрачные черты подчеркивают коричневые, словно анус, глаза, дряблые отверстия, откуда исходят звуки, взгляды, жидкости.

Трубы закапывали. В земле рыли траншеи: топкая, оранжевая земля истекала влагой, блестела грудками на краю траншеи. По трубам поступал газ или вода – мужчины разговаривали, женщины становились вялыми, высохшими, дети бегали.

Повсюду тишина, никаких звуков: мотоциклы, поезда, самолеты, отбойные молотки, велосипеды, матери, двери, колымаги – больше ничего не слышно.

А перед этим торговцы зазывали, лавки распахивались, заполнялись покупателями, пустели, люди возвращались со своей добычей, шагали по грязи и радовались, по улицам, похожим на транспортные развязки, носились покупательницы в пальто, с собачкой на поводке, ребенком или кошельком в руке. Это матери с полными руками возвращались домой.

ПЕРСОНАЖ

Книжный. И одновременно магазин игрушек. Дети быстро входят и выходят, толкаясь и не скрывая жадности, удовольствия, смущения оттого, что тратят деньги. Они смотрят на детские книги в витрине, игрушки, авторучки в футлярах, отделанных белым атласом, белые и желтые лампы на красной крепированной бумаге, где разложены книги, игрушки, авторучки.

На витрину смотрит персонаж. Он еще не старый, но одет в черное. Наступила осень – внезапная, тусклая, слишком теплая, тревожная. Человек пожилой, раз дети не смотрят на него.

Продавщица в книжном раздает сладости, лакрицу, сахарные штуки, пахнущие снегом, но снег не падает – осенью опадают листья. Монеток в детских пальцах не видно.

Он мечтает о том, как продавал бы им всякие штуки. Детей тут много: рядом школа. Выходя из школы, они минуют магазин, клюют на приманку, изучают ценники пулеметов, медвежат, кинжалов.

Пальто человека запахнуто. Его руки теребят содержимое карманов. Болит под ребрами. Дети снуют туда-сюда. Ноют кости, ноет низ живота. Дети. У них между ляжками дремлет ящерка. Он думает об этой ящерке, о том, чтобы разбудить ее

и заставить бегать. Они об этом не думают – это запрещено, покупают лакрицу и любят играть игрушками – это разрешено, ящерка побежит сама, если ей захочется, ночью, под простынями, или у них в голове: зверек побежит. Человек думает о нем, кровь отливает от головы, под ложечкой сосет, как от голода, тяжесть, будто от голода, жжение в животе, все тело обращается в пепел.

Он смотрит на фигуры детей и распознает в них старость родителей, видит старческие лица поверх детских, морщины, отметины: звериная старость отцов и матерей отпечатывается на этой белоснежной плоти. Он не любит детей, знает, кто они, ему нечего им сказать, он ненавидит их.

Гнусные рожи в миниатюре, гнусные маленькие пороки, гнусная маленькая глупость, жестокость, подлость взрослых в миниатюре. Но они движутся. Взрослые шагают медленно, работают, страдают, мучают, медленно спят: взрослые умирают, дети движутся. Слоны медлительны, мухи стремительны, думает человек, и ему смешно. Стоя перед витриной, он думает о том, что любит мух, он слушает их так же, как этих щенят, которые топчутся вокруг.

Дети блестят в свете витрин. Он любит этот свет. Он улыбается, на улице темнеет, становится пустынно, детям страшно, он любит этот страх.

ОКНО

За несколько лет белая краска на потолке потемнела (обогреватели, табак). Стены украшены невзрачными предметами, которые, беспричинно накапливаясь, даже не притягивают взгляд. Сидеть на стуле, за столом, лежать – столько забот, тревожностей, что не спасает даже сон.

Пол вытерся: ходьба, падение предметов, пыль, пятна, уборка. Здесь одеваются, раздеваются, ухаживают за ничейной одеждой. Все вопиет об отсутствии живого. Жилище? Нет, скорее, убежище, темный угол, уменьшенный до приемлемых размеров, где чувствуешь себя, точно рыба в аквариуме, стеклянном шаре, выстеленном разноцветным гравием, где она оборачивается сотню раз в минуту.

Встаешь с кровати, замерзая на утреннем холоде,ходишь голый, сгорбленный к стулу, куда сложил накануне одежду, которую носишь каждый день. Не смотришь на нее – слишком уж спешишь влезть, спрятаться, согреться, стать пленником.

Обуваешься, надеваешь галстук, слегка ополаскиваешь те участки кожи, что остаются открытыми, выпрямляешься.

Осматриваешь стены, потолок, мебель, ощущаешь ничтожность всего этого и понимаешь,

что сам точно такой же. Ты сделан вовсе не из плоти – ты всего лишь большая тяжелая масса, которая раздавливает остов из хрупких костей. На краткий миг подавляешь в себе желание открыть дверь и уйти. Вспоминаешь, что работаешь по восемь часов, спишь по восемь часов, ждешь по восемь часов в день. Строишь на время. Разумеется, ты собрался заблаговременно. Еще успеваешь сесть на край кровати, достать сигареты, спокойно покурить. Думаешь о телодвижениях, которые совершишь потом, чтобы спуститься и пойти на работу – сначала метро, под улицей, под остальными, вместе с ними. Куришь. Минутная стрелка вращается.

57

Потом, перед тем как выйти из комнаты, мельком смотришь в окно. С некоторой грустью, никогда особо не доверяя своим глазам, убеждаешься, что снаружи тоже ничего нет – и так каждый день.

МЕТРО

Сядишься на скамью. Это не сиденье, а знак, подсказывающий позу для отдыха – наполовину скрюченную: бедренные кости в горизонтальном положении, спина под прямым углом или наклонена к коленям, таз расплюсчен между этими двумя тяжестями – никчемное коромысло весов. Мигрень. Потеря сознания, с мигренью внутри головы. Колесо вместо головы, осунувшееся лицо, голова под каблуками, которые шагают, трут, шаркают, следуют друг за другом. Периодические вспышки, приглушенные танцы, звуки резака, скрипы, отдающиеся в каждом позвонке.

Взгляды мужчин опускаются на ноги женщин лишь затем, чтобы подпитать одинокий порок тряского метро.

Посреди рва – рельсы, попарно, валетом. Больные головы под этими колесами, куда сверху дают тела.

Вверху за лестницей – сначала коридор, где тела перемещаются с характерным треньем, похожим на скольжение ящиков с бутылками по кузову грузовика. Группами по шесть, восемь, двенадцать человек они следуют вдоль по коридору, минуют двери, покачиваются перед синими эмалированными табличками, пока не попадают в другой коридор.

И тут их настигает вибрирующий крик. Черноватая, пирамидальная, готовая рухнуть масса (основание пирамиды устремлено к вершине, которая ускользает, взмывает ввысь и снова падает, сухожилия натянутой шеи проступают под кожей, морщинистой, будто живот ящерицы, в ромбоидальную клетку, где откладывается пыль веков, влажная от выделений), груды смолистого вещества, прижатая к стене, но отбрасываемая обратно на середину коридора его изгибом – и оттуда доносится крик, похожий на песню, спетую с закрытыми глазами. Это кричит старуха, и порой неподалеку от нее что-то падает на пол.

Женщина поет. Таким противным голосом, что коридор кажется бесконечным. Коридор – это полый полуцилиндр, лежащий на боку, звуки пения отражаются белой фаянсовой плиткой, покрывающей свод. Вытянутый внутренний орган, вытянутая грудная клетка, внутри которой по пригородному шагают мужчины и женщины.

Коридор заканчивается выгребной ямой. Кучки людей расходятся из него и заполняют все каменные плиты, между которыми открывается ров с рельсами.

Люди останавливаются и молчат. Наступает приятная тишина. Девушки улыбаются друг другу: с очаровательным кокетством показывают стиральный порошок, легкое промежуточное блюдо, лифчик, используемого ребенка. И мы улыбаемся в ответ, слегка тревожно и смущенно, чувствуя себя недостойными подобной приветливости, столь милой, столь настойчивой.

Рекламные плакаты – это огромные вогнутые листы бумаги, по которым пробегает наши слова. Подвижные пятна составляют неподвижный рисунок (кажется, будто на нем могла бы быть изобра-

жена шлюха после удаления яичников или яичная скорлупа, пробиваемая ложечкой). Взгляды в форме ложечки неторопливо позвякивают под шелест плакатов.

ПЛАКАТ

61

На нем изображен диван. Слева – стена, а затем начало фотографии, справа – окончание фотографии, а потом стена. Возможно, изображение перевернуто. На диване ничком лежит голое тело.

Спина разделена надвое бороздкой, которая начинается между плечами и спускается до самой промежности. Над позвоночной бороздкой – затылок, слегка наклоненный к краю плаката: четко видно правое ухо, более расплывчато – лицо, в неполный профиль.

Губы и подбородок закрывает правое плечо, выдвинутое вперед. Сильно выгнутая спина закрывает левое плечо.

Волосы выше тела, хотя голова не поднята, а служит продолжением бороздки, разделяющей спину. Волосы на своем месте, но в силу перспективы кажутся выше всего остального. Хотя они и впрямь выше.

По обе стороны бороздки – половинки спины. Обнаженное тело лежит таким образом, что подошвы ног на переднем плане выходят за пределы плаката, а само тело как бы прочерчивает диагональ от левого нижнего угла плаката, где расположены ноги, к правому верхнему, где видны волосы. Ступни почти соединены или слегка раздвинуты. Волосы – темным пятном золоти-

сто-желтого цвета, а все тело от волос до ступней странно ориентировано, точно стрелка компаса, указывающая на север. В таком случае синий, намагниченный конец стрелки (на других компасах он обычно красный) будет соответствовать голове модели, а белый (который иногда бывает синим) – ее ступням.

62

Они кажутся нечистыми. Видны лишь подошвы, они-то и грязные. Виден также правый наружный край правой ступни, а у левой ступни – только низ. Ступни вытянуты, как и все тело: пальцы ног являются продолжением правой ноги, видимой сбоку, а другие пальцы – продолжением левой ноги, видимой почти что сзади.

Темные участки, наводящие на мысль о том, что ступни грязные, распределены неравномерно. Подошва правой ноги обозначена темным островком. Внизу левой также есть темный участок – нижняя поверхность пальцев: детали размыты из-за общего впечатления засаленности плаката. В любом случае, они темные.

Посредине ступни светлые и гладкие: в целом, лежащая на них тень наводит на мысль о том, что они чистейшие и хорошо выскобленные.

Тот факт, что ступни и голова находятся в тени, а очень светлая поясница выделена серым тоном, позволяет предположить, что интерес фотографа был сосредоточен на части тела, расположенной между поясничной и подколенной впадинами. Свет сконцентрирован там, пусть даже темные части не черные, а сероватые.

Сам плакат имеет форму сильно вытянутого прямоугольника, куда вписано сильно вытянутое тело. Этот эффект растяжения вызван ракурсом, но даже если смотреть прямо, плакат все равно кажется сильно вытянутым, тогда как тело, воз-

можно, не выглядело бы таковым, если бы можно было посмотреть на него под другим углом, но это невозможно.

Тело кажется вытянутым и непропорциональным (ноги длинноваты, спина коротковата), поскольку оно искривлено, подобно плечам лука при натягивании тетивы, или, точнее, оно производило бы впечатление изогнутого таким образом, вообрази мы этот лук не в вертикальном положении, как его держат при стрельбе, а ориентированным так же, как это тело, и увиденным под таким же углом, вроде недавно упомянутой стрелки компаса. Тогда средняя часть выгнутого лука (рассматриваемая с точки зрения стрелка) стала бы наиболее удаленной на одну треть – последнюю, считая снизу, а две другие кажущиеся трети представляли бы собой в реальности лишь половину лука от низа до середины.

63

В целом модель производит впечатление гибкости, но это не более чем впечатление.

Тело опирается на локти. Видна правая рука (кроме предплечья), слегка видна правая подмышечная впадина, но волосы неразличимы, если они, конечно, есть. Правый локоть вонзается почти вертикально в диванный валик, жесткая материя едва прогибается.

Такое положение локтя и руки выпрямляет тело, наподобие колышка, – так выпрямлялось бы колышком или рукой (согнутой в локте) туловище обнаженного либо одетого человека, который читает газету или брошюру, лежа на животе, и выпрямляет туловище, упираясь локтями, лишь затем, чтобы установить между лицом и печатным объектом привычное для чтения расстояние. Этим приподнятым положением туловища объясняются выпуклость спины и вогнутость поясницы – то и другое сильно бросается в глаза.

Нижняя часть спины безволоса. Фактура кожи очень тонкая, а сама плоть твердая и плотная – она почти блестит. Это основание выглядит бесполом, хотя длина, крепость, даже округлость, узкие бедра, изящные ляжки придают ему безусловно мужественный вид. Но лицо очень плохо видно, длина волос слишком двусмысленна, а туловище недостаточно открыто, чтобы можно было по вторичным половым признакам, как-то: борода, усы, соски, бакенбарды, губная помада, точно определить пол тела, видимого со спины.

Возможно, эту двусмысленность усиливает и сама поза. Эта спина могла бы принадлежать четырнадцати-шестнадцатилетнему подростку конкретного пола, который лежит на диване в ожидании процедуры, предполагающей подобную позу.

Впрочем, на этом ню нет никакого печатного текста, торговой марки, фирменного названия, призыва, предвыборного лозунга или рекламного совета. Поэтому различные прохожие, спящие вдоль огромного плаката, не интересуются им, и никто не пытается разгадать возможную идею.

Столько историй. Нужно поискать в лужице виски. Слышится этот гул, он гарантирован. Каждые три минуты слышен гул. Точнее, по песку бесшумно тащат железяки. Бесшумно. Они несут железяки. Железо. Цепи.

Слышится аромат виски. Ему нужно просто говорить, мы будем его слушать, с каждой рюмкой все отчетливее. Он говорит. Не говори. Мы шагаем по сухому или не совсем сухому песку. Сухому, понемногу, медленно, так медленно, что не слышно, как он сохнет под ступнями. Да, шум продолжается, негромкий, совершенно тихий, он не у нас в головах, беззвучный, он звучит не там, а рядом, мы знаем, что он звучит, но не слышим его.

Этот шум производят машины. Только и всего. Люди, сидящие внутри, пинками заставляют их тарахтеть. Вот даже пламя – вдоль бара, медно-красной стены. Мы ждали. Языки пламени лижут стены, обглаживают их своими зубами, белыми и жидкими, заполняются слюной и выплевывают слюну, точно устриц, брызжущие языки пламени, ведь языки пламени не вздымаются, будто молнии, а опадают. Вот они. Стекают по стене, изрытой желтыми и черными ранами, до самого пола и, падая каскадом, блекнут и остывают, пока не

становятся холодными, черными, белыми и жидкими, точно ледышки, что обжигают пальцы, тая в руках.

66 Мы рассеянно теребим ледышку в бокале, вынимаем ее, ледышка – это куб, имеющий форму куба, а когда он тает, форму языка и глотки: остается лишь лужица желтой маслянистой крови, откуда по длинным канавкам вырываются эти жидкие, вытянутые языки пламени, что сыплются мелкой желтой крупой, светятся блуждающими огоньками в тумане – там, на столе. Мы подносим бокал к губам, глотаем содержимое, песок из каждого бокала забрызгивает ноздри, как будто мы играем со своими детьми в сухом песке и наши дети с волосами цвета виски уже закапывают нас, земля высыпается отовсюду, она зеленовато-черная, жирная маска стекает, подобно лаве, по всему нашему телу – тогда мы разражаемся хохотом и веселимся с детьми, которые щиплют нас за колени.

Гул – я увидел винты в вышине, в красной и теплой ночи вертолет пролетает над головой, тысячи наших голов поднимаются, видят, как падают бомбы, и хохочут, потом окунаются в бокалы, где взрываются осколочные бомбы, которые кромсают тысячи наших лиц, откуда вытекает грязь, вертолет вертится вокруг своего винта, я швырнул свой бокал, до него долетел осколок, он падает, его поглощает песок. Песок поглощает огонь, который поглощает металл и черепа, который сжигает металлы и цвета, с закрытыми глазами и широко распахнутой зияющей пастью, что пожирает и засыпает на песке, на столе, переваривая пищу. Я не могу сказать, день сейчас или ночь, пожары озаряют темноту, это делается нарочно, это нарочно делают другие. Никого больше не видно,

стол гладкий, мой бокал треснул, спустилась жаркая ночь, очень далеко в вышине, над нашими головами – какими головами? Больше никого нет, спустился шар черной жары, всякий раз, когда солнце краснеет, падает метеорит, и мы во тьме, оттуда струится огонь, густой, как нечистоты, огонь выливается нам на ступни, нет, это другие тела жарятся и танцуют под метеорами, а мы сидим перед своими бокалами и теребим ледышки, что поднимаются по одной в бокалах, как это умеют делать огоньки. Кто станет бояться алкоголя?

БОРДЕЛЬ

Женская грудь, хлопает окошко. Коридор, приходящая, перпендикулярная улице, открыта всем ветрам. Белая плитка, вытертая от ходьбы: царапины, черные риски остаются, даже если долго тереть. Ночь.

Лужица блевотины у порога вытянулась в форме языка: красное вино, смешанное с желудочными соками и белесыми, железистыми шариками – наблевано при входе или выходе. В эту лужицу вступили, намочили в ней пальцы: на плитке остались фиолетовые следы, ладони, полосы от указательного на стенах, выкрашенных в оранжевый цвет.

В глубине коридора окошко, в котором темнеет внутренний двор. В проеме входной двери мигает синеватая вывеска, прикрепленная к антресоли дома напротив. На улице ветрено, ветер поднимается по улице и сворачивает за угол коридора, проникает в самую глубину, хлопает окошком, скрипит дверьми слева и справа.

Эти двери выкрашены в более темный оранжевый цвет, нежели стены. Или, возможно, это налет от натыкающихся на них тел.

Плитка в коридоре плохо зацементирована. От ветра или смещения каменной кладки она сдвига-

ется в выемках под незримыми шагами: эти звуки заглушаются сквозняком или шумом смывных бачков.

Коридор засасывает клочки бумаги, мокрые от дождя и принесенные с улицы, из водосточного желоба: люди в пальто проходят, глубоко засунув руки в карманы, рвут и выбрасывают ненужные бумажки, из-за чего ненадолго коченеют кончики пальцев.

Потолок коридора покрыт некрашеной штукатуркой. В темноте он кажется совершенно чистым – ни трещин, ни прожилок, ни пятен. Но штукатурка, отставая из-за влаги на водопроводных трубах, проходящих через все этажи, сыплется на пол всякий раз, когда открывается кран и вибрируют трубы.

Лужица блевотины уже не фиолетовая, голубая вывеска погасла. Жидкость теперь сиреневая, по-детски розовая, текучая. В ней отражаются огни, горящие на перекрестке дальше по улице, где три фонаря освещают скамейки, стройку и мужской туалет под кленами.

По плиточному полу уборной, покрытой мшистым шифером или цинком, течет струйка воды, журчащей, как ручей. Мхи потихоньку впитывают воду и свет.

ГОРОДСКОЙ САД, НОЧЬ

Глаза устали от пересекающихся линий – ада влажных линий, в котором дома смыкают затверделые губы, пока сверху на них снова и снова падает небо.

В паре шагов – покрытый известковым налетом желоб, и по нему геометрически точно течет река. Смола, металл, складки на животе, куда погружается ночь. Некоторые улицы ведут к реке, к берегам, где разворачиваются грузовики.

Два человека идут словно по поверхности воды – бок о бок, касаясь друг друга. Река течет и останавливается у них под мышками, а вверху переполняется железками, в холодном небе застывают судорожно высранные тучи. Гул эшелонов, каждый шаг отмеряет тишину.

Пять утра. Они переходят мост. Рябь на воде смешивается с блестящими, белыми и желтыми веретенами. Они по ту сторону реки, ближе к саду – ничего, кроме них, серый камень и холод.

Двоем на берегу возле швартовых тумб, позеленевшая от сна кожа, рассветные деревья, ледяной ветер бросается к ногам и заголяет плоть.

Двигатели работают вполсилы, раздаются крики птиц, машины едут быстрее.

Немытое небо не хочет вытягиваться, на мутной заре оно укладывается вместе с рекой, окунается в воду, волнистую, точно стенка влагилица.

А они шагают. Серое, фиолетовое на сером, игра отражений, посылающих друг другу отблески бетона на самом верху. Они заходят в кусты, синие деревья, они в кустах, опускаются на колени, лизут друг другу лицо, твердые и очень холодные руки – они там вдвоем и счастливы.

Этот кустарник украшает лужайку с другими кустами, ржавые цветы покрываются росой, капли росы выступают и на черном металле калиток, липких решеток. Сквер закрыт на ночь, они там, под сенью цветов, или праха, который впитывает в себя все.

Когда вдалеке на асфальте звучат шаги, они расстаются. Сад пуст и не светится – светится только жидкость на траве или на земле, где ползают муравьи.

На другой стороне сада парапет, а внизу – мост, река течет, ведь скоро рассвет. Лето.

РЫНОК

Это дешевый пакет, коробка из-под обуви или пластмассовое кашпо: в любом случае, емкость. Она наполнена и покрыта пылью. Мы разворачиваем газету, которую больше не будем читать, и высыпаем туда содержимое корзины – емкости.

Улицы, как обычно, безлюдны: после полудня старики и старухи караулят за шторами, вяжут, читают утреннюю газету. Магазины закрыты, на улице никого. Никто не греется на солнышке.

Груда мусора на листе бумаги отдаленно напоминает по форме гору экскрементов.

Теперь, когда торговцы уже ушли, а мусорщики еще не приехали, по рыночной площади рыщут человечки в серых вязаных платках и брюках орденосных военных, старики с жадными и сонными головами, которые терпеливо ждали в сторонке с самого утра: они толкают разбитые детские машины или колымаги на четырех колесах, снятых с самокатов их внуков, и собирают дерево, картон, упаковочную стружку: всё это они используют вместо топлива – каждый для себя.

На самом верху груды – легкий мусор: скомканные клочки бумаги, сожженные спички, скрученные окурки, рваное складчатое тряпье, откуда торчат табачные волокна, тонкие апельсиновые

корки, счищенные ногтем большого пальца с мелких фруктов – ноготь захватил чуть-чуть желтой мякоти. Корки длинные, переплетающиеся: стоит взяться за одну, и вытащишь роскошную гирлянду, что распадается на две-три цепочки.

Это рыбный угол. Запах грязных гениталий. Сюда спешат потому, что торговцы оставляют на месте остатки улова – прямо посреди хвойных ветвей, сине-зеленых от чешуи, и лужиц измельченного льда. Но лучшие отходы уже растащены собаками и кошками. Остаются лишь недоеденные головы, которые пойдут на суп: мухи взимают с них свою долю. Также остаются кишки – фиолетовые, красные, коричневые, клейкие, липнущие к подошвам, но порой можно обнаружить и красивого слизняка с розовой или желтой икрой.

73

В середине груди – множество пустых пачек из-под табака с потеками бурого сока: о них вытирали трубку. Пачки разевают пасти, точно мешки для угля. Они перемешаны со спичками, сгоревшими сильнее верхних. Синяя шариковая ручка, обгрызенная с одного конца (глубокие вмятины от резцов, малых коренных), и развивающиеся длинные серо-бурые нитки, вероятно, выдранные из поношенной одежды.

Напротив торговцев рыбой – ничего интересного: лоток торговцев трикотажем, скобяными изделиями, мылом. Но если приподнять потрепавшиеся листы бумаги «стронг», рекламки на бристолевском картоне и сплюснутые чехлы, то можно найти светлые мохнатые бечевки. Все эти узелки развязываются часами. Потом бечевками привязывают к подпоркам овощи, используют их вместо пояса, подтяжек, креплений для хлопающих ставен. Они заменяют резинки для носков, а если два-три раза обмотать ими жирную часть

ляжки, они удерживают чулок в желобке посиневшей плоти. Но для начала ими свяжут то, что принесут с рынка.

74

Ну и главные мусорные трофеи – осколки тарелок из толстого белого фаянса. Длинный гребень с широко расставленными зубцами, забитый накипью. Дешевая книжка – на вокзалах такие покупают вместо туалетной бумаги, вырывают в сортирах по пять-десять страниц, а потом носят книгу с собой в кармане. После нескольких поездок от нее остается только обложка. Тут есть еще несколько страничек, наполовину и криво оторванных, с бурными отпечатками пальцев. Другие трофеи: два пустых тюбика. Один плоский, треснувший у основания, белый, без подписи. Второй свернут до самого отверстия: спираль яркого цвета, залапанная липкими пальцами, к отпечаткам пристали хлопья пыли. Букет цветов, выброшенных после того, как они совсем уже завяли: ноготки, ветреницы. Венчики черные, покوروبившиеся, словно от огня, и с них капает жидкая гниль. Сухие верхние листья свернулись в покрытые патиной рулончики; нижние – подозрительно мягкие, будто кусок испорченного мяса; стебли превратились в палочки, и вода, попавшая внутрь через кончики, вымыла из них всю мякоть, подобно кислоте. Все, что осталось на дне вазы (сероватый отстой, два камешка, обрывки листьев), высыпается на кусок изумрудной ткани, которая, судя по швам и складкам, служила подкладкой для одежды.

Фрукты и овощи – это самый вкус. Сезон в самом разгаре, разложение происходит быстро, и на земле валяется несколько килограммов растительной пищи – подбирай, не хочи. Помидоры, груши, редиска, цикорий, репа, капуста, стручки гороха. Яблоки, абрикосы, персики, сливы – не-

важно, в каком состоянии: свежая часть пойдет на полуденный десерт, а раздавленная или сгнившая – на вечерний компот, проваренный несколько раз с сахаром, общим или каким-нибудь другим, или вообще без сахара.

Это крытый, асфальтированный рынок. Останавливается грузовик, оттуда выходят дворники – давно пора. Обшарить все места с мясом, требухой, колбасами, рядом с торговцем готовым платьем – большие картонки и огромные пластиковые мешки, дальше – пара новых шнурков в кольце. Торговец обувью курит и кладет сигарету, чтобы обслужить покупателей, сигарета падает на землю, насквозь пропитанную слюной, он подкуривает другую, кладет ее, возвращает сдачу, открывает коробки, и сигарета падает – так выкуриваются две пачки: когда сигареты высохнут, их можно будет курить.

Загадочные фрагменты: например, этот уголок из красной пластмассы, эта короткая металлическая трубка, эти прозрачные кристаллы, которые могут оказаться разбитыми стеклянными бусинками. Микромир крючков, винтиков, фольги, пуговиц с ширинок и воротников, билетов на метро, катышков желтой ваты, зонтичных спиц, монеток в один сантиметр, пучков волос, выданных из щеток – перебрать все это можно только при помощи микроскопа, так же, как изучают радиолярии, диатомеи, фораминиферы, прокаливая зеленый озерный ил, прибрежный планктон.

Они уходят – с посвежевшим взглядом, напряжено думающей головой. Колеса скрипят, метлы скребут, на мостовой трещит костер из досок, пламя поднимается все выше, они идут по улице, каждый со своей стороны, накрыв добычу клеенкой, которую двадцать лет назад наклеили на стол у

себя в кухне, когда у них еще были внуки с самокатами, толстый стол из легкой древесины, и солнце светит ярко, но не печет – абсолютно желтое.

На площадь пришел праздник. Все вверх тормашками: девицы, старухи, суки, свиноматки валяются в очистках. Маскарад, похожий на вавилонское столпотворение: барабанщики, шулера, пустозвоны, сосуны, слободские пройдохи, вихляющие ходоки переминаются с ноги на ногу. Вино, солнце, похоть. Они засовывают указательный в естественные отверстия женщин, будто в выгребную яму, где куры откладывают яйца. Забавная пора. Листья опадают на бешеной скорости. И эти бессчетные зеваки, что, задирая пятки до самой задницы, стучат шарами по треснувшим стволам деревьев, возвышающихся с воскресной суровостью.

Священники начинают шествие с метлой в руке и облаткой в ухе, прокладывают себе канал, благословляют содомию. Чаши с сидром на липкой стойке, куда окунают пальцы. И кокарды! Торжествуя в вальсе, женщины с оверньским профилем ворчат, облаченные в медные латы и металлические опилки, ножи протыкают разоренные кишки жирных детей. Шумную толпу ограждают повозки, запряженные лошадьми, которые гадят на голозадых ребятишек и закрывают всякий доступ. Сидящие на этих телегах почтенные свято-

ши в величественных оборках упираются усами в затылки невест. Овации. Крайне трудно пробираться сквозь толпу.

Впрочем, если пролезть под повозками, можно уйти с площади.

И вдруг впереди безлюдная улица.

Но по-настоящему тихая. Железные ставни на витринах, деревянные – на окнах. Невзрачные дома пахнут унижением, вином, дождем, хандрой.

78

Прямо по курсу, на протяжении двух-трех километров – виллы, хибары, заводы, замусоренные песчаные равнины и выгнувшиеся дороги, к которым ведет улица.

Дома слева и справа прореживаются. Маленькие посреди садов, украшенных шиповником, щебнем. Глицинии на прутьях решеток воняют грязным бельем сиротских приютов. Это халупы с крыльцами – три серых бетонных ступеньки, где оправленные маленькие жернова отражают солнечный свет, маркиза из черепицы или полупрозрачного стекла, половик – рыжий, как волосы на теле викария.

Дальше никаких домов – за последним угольщиком, его огородом, закрома для угля, листы железа, залитые жижей, черная кошка на лестнице в подвал, велосипеды, прислоненные к стене мельницы.

А затем большие пустыри, порой огороженные, будто сады. Бурьян до пупа, шиповник, валериана, ограды из веток, где на отставшей коре сохнут черные усики вьюнка, плакаты, порванные на фунтики, пыльные заросли, сожженная чаша, ежи, ямы, овраги, старые говяжьи кости, детям есть чем играть, рыть, убивать друг друга.

На некоторых пустырях – низенькие хижинки из брезента, картона, бечевки, спрятанные за бузиной, жилища вдов в безрукавках, лачуги садов-

ников, бродяг, уже умерших. Сюда приходят, чтобы раздеваться догола, спускать трусы, а рубашку подтягивать под мышки: белоснежный дрожащий живот извивается, весь исколотый, когда идет дождь, дождь – отец всех пороков.

Иногда на улицу смотрят сараи, склады, столлярные мастерские с балками, вязанками дров, опилками, каркасами стульев из орехового дерева, украшенных шарами и сатирами; ржавые слесарные мастерские, кузницы, кроличьи шкурки, старые тряпки, потрепанный грузовичок для утреннего объезда, коллекция шин, в другом месте – треснувшие зеленые бутылки, угловатые металлические акробаты, шершавые гончарные изделия, солдатские котелки Первой мировой, охапки хвороста с заколдованными волосами, колючая проволока, раковины устриц или морских черенков, заплесневевшие сутаны, присыпанные колечками дождевых червей, воскресные картины, фортепьянные струны, испорченные ленты, круглые тыквы, что лопаются, истекая супом, муравейники, дверцы бретонских шкафов, красные переплеты первых призов, бараньи челюсти, подметки, чугушки, стекла, коричневые чемоданы с торчащей цветной бумагой, неведомые рукописи, связанные бечевкой для окорока, лоскутья ковра, а сверху мокрицы, ухвертки, сороконожки, серые слизни – большие лицейские шляпы, полые гипсовые гномы, оторванные святые, разноцветные Девы Марии, загородные дыры, совокупающиеся и гадающие улитки, рамы педальных машин, белокурые волосы, живые взгляды, широко представленные резцы, воспоминания детства.

А дальше начинаются фабрики, сейчас уже пустые, с рельсовыми путями, от которых рыжеет низкая трава. К столбам в облаках прибиты почто-

вые ящички из фанеры, побелевшей от ливней, или из цинка, поцарапанного когтями почтальонов. И наконец там, впереди, бледно-голубое, почти серое небо – будто глаза провинциала.

СЭМ-ГЕРОЙ

Когда у семилетнего Сэма спросили, какой подарок он хочет на Рождество, он ответил:

– Я хочу стать очень большим!

Мать удивилась:

– Очень большим, Сэм? Большим-пребольшим? Но зачем?

– Надоело быть маленьким! – воскликнул Сэм.
– Это нервирует! Я хочу стать во-от таким большущим! Тогда я успокоюсь.

И он поднял руку вверх и вытянулся на цыпочках, чтобы показать, что значит быть большим, но обнаружил, что это не так уж и высоко. Поэтому он сказал:

– Нет, не по руке. Нет! Вон дотуда!

И он показал на потолок гостиной. Он хотел показать на дымовую трубу – там, на крыше дома.

– До потолка! – сказала мать. – Ну и ну, до потолка! Но Сэм, дорогой, не бывает людей ростом до потолка!

– А я хочу! – заявил Сэм, который не любил просто так менять свои желания. Мать вздохнула:

– Ты и правда не хочешь чего-нибудь другого?.. Чего-нибудь хорошего?

– Нет, я хочу плохого! Хочу быть большим! До потолка! Назло!

Мать решила, что сын не в настроении, и не настаивала. Она включила телевизор.

В Сочельник Сэм нашел под освещенной елкой множество свертков – круглых, квадратных и прямоугольных, больших и маленьких, мягких и твердых, тяжелых и легких, длинных и коротких, и все они были перевязаны блестящими лентами. Но там были только игрушки, которые дарят семилетним детям, шоколадки и цукаты: всего-навсего груда пустяков! Сэм остался недоволен. Однако он не стал ворчать, а насупился и ушел в спальню. Когда мать захотела его поцеловать, чтобы потом выключить свет, Сэм отвернулся лицом к подушке. Нет, ему не холодно! Нет, ему хватает одеял! Нет, ему не хочется пить! Но – черт возьми! Мама все равно поцеловала его волосы и в смущении ушла. Какими мягкими были волосы Сэма и как вкусно они пахли! Почему же он так куксится? Объялся чего-нибудь?

Когда Сэм остался один в темноте, он сначала вспомнил о своих новых игрушках. Ни одного карабина! Ни одного самолета, который на полной скорости сбрасывает атомные бомбы! Ни одной жвачки, из которой можно выдувать пузыри! Ни одной гильотины с кнопкой, куда можно нажимать, чтобы рубить головы всем подряд! Даже ни одного ковбойского револьвера с барабаном, чтобы расстреливать других детей розовыми пистонами, которые трещат громче спичек и так вкусно пахнут! Ничегошеньки!

Совсем ничего. Сэм быстро заснул (он выпил два глотка шампанского), представляя, что елка загорелась и подожгла весь дом. От этой мысли он засмеялся в подушку.

Ночью к нему пришел старик, спустившийся на облаке. Облако напоминало очищенное яйцо вкрутую. Старик был одет в черную мантию с кучей планет, комет, звезд и полумесяцев. Его длин-

нющая борода проходила между ног и выглядывала сзади белым лисьим хвостом. Хитрый лис! В одной руке старик держал земной шар, а другой вращал малюсенькие и яркие-преяркие звездочки. Сэм подумал: «Я тоже мог бы сделать солнышко своим йо-йо».

Тогда старик подошел и сказал:

– Сэм! Сэм! Что ты делаешь в постели? Тебе не стыдно спать в такую рань? Ты мужчина или младенец, в конце-то концов?

85

– Нет, – наудачу ответил Сэм. Он выпрямился на подушке, протер глаза, почесал голову, скрестил руки на животе и уставился на странного дедушку.

– Правильно, что сказал «нет»! – энергично воскликнул старик. – А теперь послушай меня! Я услышал желание, которое ты загадал, и...

– Загадал желание? – спросил Сэм. – Что я еще натворил? Начнем с того, что я ничего такого не сделал! (Сэму показалось несправедливым, что его в чем-то обвиняют, хотя он даже не знает этого выражения.)

– Перестань, перестань, Сэм! – ласково сказал старик, слегка подвинув звезды, чтобы мальчик лучше видел его голову. – Ты не сделал ничего плохого! Загадать желание – значит просто чего-нибудь захотеть. Я знаю, чего ты хочешь, и пришел сюда, чтобы подарить это тебе. Но только не надо так кричать!

– Я? – негромко буркнул Сэм. – Ну и чего я хочу? Ты же ничего об этом не знаешь!

– Перестань, перестань, Сэм, – повторил старик. – Разве ты не говорил, что хочешь стать большим?

– Может, и говорил, – неохотно признался Сэм. У него не было ни малейшего желания объяснить

это какому-то дедуле, который крутил звезды бордой между ногами. Тогда уж нужно всем все рассказывать!

– Хорошо, я исполню твоё желание. Слушай меня внимательно: если захочешь стать большим, как взрослый (но не больше!), тебе нужно будет просто сказать: «Ай!», и ты тут же станешь большим, как взрослый (но не больше!). А когда захочешь снова стать маленьким, тебе нужно просто сказать: «Ух!», и ты снова станешь таким, как сейчас. Понял?

86

– Ай-ух! – сказал Сэм, чтобы запомнить волшебные слова. – Согласен! Ай-ух! Хорошо! Просто здорово! Именно этого я и хотел! Можно сразу попробовать?

Но старик в черной мантии со звездами уже исчез, и в ту же минуту или сразу после этого Сэм снова заснул.

Спал он очень хорошо – крепко и долго! А потом проснулся, широко зевнул, вытянув левую руку влево, а правую – вправо, и непроизвольно пошевелил пальцами ног. Он проголодался и сразу вспомнил про увиденного во сне старика, звезды и все эти небылицы.

– Как же! – громко сказал Сэм. – Значит, мне нужно просто сказать: «Ай!», и я стану большим? Как же! Рассказывай!

Но в ту же секунду, когда Сэм сказал: «Ай!», кровать стала совсем маленькой. Ноги Сэма запутались в простынях, голова вытянулась высоко над подушкой, а руки повисли по обе стороны до самого пола. И когда Сэм это увидел и сказал: «Черт!», он услышал голос, похожий на голос отца.

– Какое второе слово? – растерянно спросил он самого себя грубым голосом мужчины, у которого ноги не помещаются на кровати. – Ах да – ай-ух! Ух, ух! Эй, ты что, не слышишь? Ух, ух!

И он тут же снова стал маленьким семилетним мальчиком.

Так он понял, что его сон был правдивым. Той ночью волшебник исполнил его желание, и значит, Сэму оставалось только этим пользоваться. Он встал и, когда начал одеваться, решил проверить, растут ли его одежды вместе с ним. Сэм натянул брюки и так заспешил, что надел свой толстый красный свитер наизнанку. Он сказал: «Ай!» и тут же стал большим: причем его одежда не только подходила ему по росту, но даже пуловер был теперь надет лицевой стороной! (Правда, он казался теперь гораздо светлее, чем раньше.)

87

Сэму хотелось есть и он был взрослым, поэтому он решил выйти и купить круассанов. Он даже сможет зайти в кафе, заказать большую чашку шоколада и выпить ее, громко прихлебывая, точно-точно как взрослые, и никто ему слова не скажет!

Ночью выпал снег. На тротуарах еще не было никаких следов. В булочной горел свет. Сэм вошел (какая маленькая дверь – едва можно протиснуться!) и попросил дюжину круассанов с маслом. Булочница сказала:

– Четырнадцать сорок, мсье! Приятно, когда на Рождество снег! Хотя при этом и не жарко!

Сэм покраснел до ушей (эти большие уши взрослого человека):

– Но у меня нет денег! Они у матери!

Заинтригованная булочница уставилась на незнакомого господина. Это был молодой человек лет двадцати пяти, хорошо сложенный, приветливый, приличный, свежесбрившийся, хотя она никогда не видела его среди своих покупателей. Но какое смешное выражение лица. И какой странный взгляд! Наверное, этот господин... как говорится... чудаковатый. Это уж точно.

– Если вы не заплатите, я не смогу вас обслужить, – благоразумно объяснила она, придвигая обратно к себе пакет с круассанами.

– Я забыл деньги дома, вот и все! – сказал Сэм.
– Я еще вернусь! Я вернусь!

– Ну конечно, – ответила булочница, – я отложу их для вас.

88

Сэм не привык воровать. Возвращаясь домой с горящими от стыда щеками, он задумался, хватит ли у него смелости взять что-нибудь в кошельке матери.

– Этот старый дурак мог хотя бы положить мне в карманы денежек, если уж он захотел, чтобы я стал взрослым! – проворчал Сэм, вспомнив волшебника, и машинально порылся в обоих карманах. Оказалось, что они набиты пачками бумаги.

– Что это? – воскликнул Сэм и вытащил две связки в ту самую минуту, когда мимо проходил неряшливый, шатающийся, лысый и толстый пьяница, который шел домой отсыпаться.

– Это, сынок, называется купюрами! – замогильным голосом сказал пьяница. – Причем их немало! Если не знаешь, что с ними делать, лучше отдай мне! Уж я-то найду им применение!

Как всякий маленький мальчик, Сэм рефлекторно протянул одну пачку пьянице (там была сотня новеньких пятисотфранковых банкнот). Человек взял деньги, вытащил одну банкноту и озадаченно посмотрел на нее.

– Нет, приятель! Они слишком новые! Ты издеваешься надо мной, парень? Но сегодня же не карнавал! Сегодня Рождество! Рождество! Рождество!..

И, продолжая кричать «Рождество», пьяница стал рвать банкноты и подбрасывать клочки в воздух.

– Но что на них написано? – в отчаянии спросил Сэм (он еще немного путал числа после десяти).

– Пят-наш-ки! Вот что написано на твоих банкнотах, приятель! Пят-наш-ки! – прокричал пьяница и пошел прочь.

«Пят... чего?» – подумал бедняга Сэм и принялся рассматривать оставшуюся пачку. Он сразу узнал пятерку, но потом – сколько это будет, со всеми нулями?

Сэм решил вернуться в булочную и выяснить. Он протянул пачку банкнот:

– Мать дала мне это. На круассаны хватит?

Булочница испуганно взглянула на пятисотенные купюры, лицо ее вдруг исказилось, и она завопила:

– Уходите, мсье! Убирайтесь отсюда! Или я позову мужа! Фернан! Фернан! Быстрее сюда! Скорей! В магазине сумасшедший! Сумасшедший! Господи! Убирайтесь отсюда! Вот ваши круассаны! (Она швырнула ему сверток.) Убирайтесь! Фернан! Господи!

Сэм был в полной растерянности, но не испугался (он привык к тому, что женщины кричат), взял круассаны и положил банкноту на прилавок, а затем вышел. Если банкноты не годятся, тут уж ничего не поделаешь! Ей нужно было хорошо их рассмотреть! Но они же все, как мать! Кричат вместо того, чтобы подумать! Сами виноваты!

– Ух, – вздохнул Сэм, выйдя на тротуар и обрадовавшись такой куче круассанов. Но в ту же секунду он снова стал маленьким семилетним мальчиком – опять в ярко-красном свитере, надетом, правда, явно наизнанку. А в дверях появился булочник – толстый, волосатый и весь в муке, он размахивал огромной скалкой из светлого дерева. Сэм узнал его и поздоровался.

– Здравствуй, малыш Сэм, – сказал сердитый булочник, не обращая внимания на кулек с круассанами, который держал паренек. – А где этот чокнутый? Ловите психа! Ловите психа! Куда он убежал? Скажи-ка, Сэм, ты не видел, как из магазина вышел дядя?

90

– Нет, – правдиво ответил Сэм. Булочник почесал голову скалкой для пирожных, а потом с неохотой вошел обратно: на улице было морозно. За витриной послышались звуки семейной ссоры и крики. Сэм решил оставаться маленьким, пока не свернет за угол.

Едва скрывшись от посторонних взглядов, он сказал «Ай!» и снова стал большим. Сэм уже начал привыкать к своему новому росту: это было так же приятно, как... ехать верхом на верблюде в Зоосаду! (Правда, качало здесь меньше.) Он принялся есть круассаны, но они показались ему не такими вкусными, как обычно. Может, шоколада маловато?

Сэм не отважился зайти в кафе: теперь он уже относился к своим деньгам недоверчиво. Но потом он подумал, что нужно просто взять кошелек матери, а вместо него положить толстую пачку. Это не воровство! А мамины деньги устраивали всех – уж в этом-то он не сомневался!

В общем, Сэм вернулся домой. Родители еще спали. Он принялся искать кошелек и заблудился посреди маленькой мебели в этих маленьких комнатах: он ничего не узнавал. Какой смешной дом! Сэм не представлял, как можно здесь жить! Ему захотелось взглянуть на свои игрушки, которые он оставил накануне под елкой: елка превратилась в маленькое деревце, высотой не больше Сэма – тщедушное и нагонявшее тоску, оно напоминало подыхающего старого пса. Сэм отвернул-

ся. Он заметил разноцветные штуковины из дерева и железа, сваленные кучей на полу, – дурацкие, толстые, бесформенные, и убежал в гостиную.

Со слезами на глазах, Сэм наконец отыскал кошелек, засунул его в карман (надо же – там лежали две новые пачки!) и поскорее вернулся на улицу, где уже появились люди и снег стал грязным, но при этом сияло доброе солнце.

Сэму перехотелось шоколада. К тому же он забыл дома круассаны, и у него пропал аппетит. Но уныние рассеялось, когда Сэм снова принялся разгуливать на своих взрослых, верблюжьих ногах. Так он добрался до сквера, где каждый день встречался с Марианной – хотя ей было всего восемь с половиной, она была потрясающей подружкой!

Сэм вспомнил, что они договаривались встретиться сегодня утром и рассказать друг другу, как провели Рождество. Они будут, как всегда, много целоваться, и, как всегда, Сэм засунет ей руку в то место, которое нельзя называть, а Марианна делает то же самое ему! И потом они подерутся.

Он толкнул калитку сквера и с радостью посмотрел на огромные следы своих больших ног на девственном снегу. Это были настоящие ноги, которые не подскользываются на каждом шагу! А бархатистый снег так громко скрипел под его подошвами...

Он столкнулся со сторожем (очень добрым дедушкой, как считал Сэм) и весело сказал:

– Привет, Пьеро!

Сторож допускал такую фамильярность от детей. Но дядя Пьер, видимо, не узнал Сэма и ничего не ответил. Что это за тип явился ни свет ни заря в сквер и обращается с ним, господином сторожем, будто со швейцаром ночного кафе? Они что, вместе пасли свиней или сидели с детьми?.. Сторож

решил, что нужно смотреть за этим странным посетителем в оба.

Сэм пошел по своей любимой аллее и несказанно обрадовался, заметив впереди на распутье свою подружку Марианну, которая, присев на корточки рядом с их скамейкой, лепила снежки и складывала их в огромную кучу.

Сэм подбежал и крикнул:

92 – Марианна! (Хотя, на самом деле, ее звали, наверное, Мари-Анна.)

Девочка подняла глаза и испугалась, когда к ней бросился незнакомый дядя. Она спряталась за спинкой скамейки. Сэм набрал в пригоршню снега, слегка смял его и швырнул в Марианну. Затем он со смехом развалил ногой груды из снежков, сложенную девочкой, и, усевшись на скамейку, схватил Марианну за волосы. Еще никогда она не казалась ему такой красивой. Теперь-то уж они нацелуются всласть! Чего же он ждет? С силой притянув к себе голову девочки, Сэм крепко поцеловал Марианну в губы.

Девочка завизжала, как недорезанная, а следивший за ними дядя Пьер накинудся на Сэма и сильно ударил его кулаком по лицу.

– Сволочь! Садист! Я все видел! Гад! – заорал сторож. Спасенная маленькая девочка заревела навзрыд, а на молодого человека в выцветшем красном свитере (надетом, правда, лицевой стороной) посыпались удары, у него пошла носом кровь, и он закричал: «Ай-ай-ай!» (Но это ему не помогло.)

Семья Марианны жила как раз напротив: девочка помчалась туда со всех ног, чтобы рассказать о случившемся. А сторож, кусая Сэма за руку и пиная под зад, приволок его в комиссариат, находившийся на другой стороне.

– Сволочь! Гад! Садист! Мерзавец! – выкрикивал дядя Пьер на всю улицу, пока вел окровавленного Сэма, который не понимал, что произошло. Он забыл произнести короткое слово «ух», чтобы наконец выпутаться из этой истории.

– Он напал на маленькую девочку в сквере! – заверещал дядя Пьер перед полицейскими. – Я все видел! Он зверски схватил ее за бедные волосики, похотливо прижал к себе, бешено разорвал ее непорочное розовое бельишко, умело облизал ее бедные невинные губки и запустил свои развратные когти в ее прелестную, дивную, сладостную, девственную маленькую п...

– Хватит, мы все поняли! – перебил капрал.

– Но я не нападал на Марианну! – возразил Сэм, придя в чувства. – Она сама дура! Я просто пошутил!

– Ах вот как, просто пошутил? – переспросил капрал – здоровенный детина, похожий на мясника, который питал необъяснимую ненависть к каждому, кто входил в его учреждение.

– Ладно, тогда я тоже просто пошучу, приятель! – сказал он и спокойно отвесил Сэму пару крепких оплеух, а затем ударил коленом в живот.

Тогда Сэм наконец вспомнил волшебное слово и закричал во всю глотку:

– Ух! Ух! Ух!.. Быстрее! Ух!

– Что значит «ух»? – спросил капрал (он никогда не слышал, чтобы его клиентура так выражалась, когда он прибегал к тому, что в газетах для рассудительных взрослых именуется «злоупотреблениями».) – Ух?.. Он сказал «ух»?

Но в ту же секунду на кафельном полу комиссариата не осталось никого, кроме маленького семилетнего Сэма, который плакал горячими слезами, а из носа у него текло до самого подбородка.

– Что-что? Что это? Что? – завопил изумленный капрал.

– Это же я – Сэм! – сказал Сэм, повернувшись к дяде Пьеру, который знал его с пеленок.

– Да, это он! Сэм! Просто он надел свитер наизнанку! – воскликнул сторож.

– Как так? Что-что? А? Что-что? Как так? – затараторил капрал и отвесил Сэму приличную оплеуху для очистки совести (или, возможно, для того, чтобы у прежнего правонарушителя и нынешнего было хоть что-то общее).

94

Но как только Сэм снова стал маленького роста, он уже не хотел терпеть побои, а жестоко ударил полицейского ногой по голени, назвал его «ублюдком» и выбежал из комиссариата, так что капралу оставалось только спросить у дяди Пьера адрес родителей Сэма, чтобы провести дознание и поставить на вид.

Когда Сэм решил, что отошел на приличное расстояние (пусть ему и пришлось слишком долго бежать!), он остановился и отдышался. Сэм умылся снегом: засохшая кровь стягивала кожу. Он так сильно разгорячился, что даже снял пуловер и передел его лицевой стороной.

Сэм очутился на улице, которой никогда раньше не видел. Чтобы чувствовать себя свободнее, он сказал: «Ай!», и тут же прохожий, с которым он столкнулся, машинально ответил: «Простите» (подумав, наверное, что наступил ему на ногу).

Но чем заниматься – хоть большому, хоть маленькому? Как провести день? Сэм начал понимать, что, каким бы ни был его рост, от этого места и этих людей не дождешься ничего хорошего. Он хотел стать большим, потому что ему надоело быть маленьким. Теперь же он думал, что разницы никакой нет. Нужно стать ни тем, ни другим. Но такого не бывает.

Сэм решил еще немного воспользоваться даром, которым наделил его волшебник. Он подумал, что еще никогда не видел, как выглядит взрослый человек голым (а это сильно разжигало его любопытство). Теперь, когда у него были нормальные деньги из маминого кошелька, он мог зайти в кафе, заглянуть в туалет и все рассмотреть!

Так он и сделал. Первые туалетные впечатления его поразили, тогда Сэм разделся полностью и внимательно изучил остальное. Его больше всего рассмешили волосы на заднице. Ну а к толстой штуковине спереди он быстро привык, словно та была у него всегда, и пользовался ею по своему усмотрению. Нет, это было совсем не так интересно, как верблюжьи ноги! Право же, совсем не так!

Вдруг ему пришло в голову позвонить родителям. Сэм хорошо знал номер. Кабинка находилась как раз рядом с туалетом, и у него в кармане была мелочь. Разумеется, он еще ни разу им не звонил. Это было бы забавно! Сэм часто пытался позвонить из дому себе же домой, играясь с трубкой, но никто не отвечал.

Он сделал все необходимое и услышал сигнал. После пяти гудков раздался щелчок, и странный, строгий голос, которого Сэм не слышал раньше, сказал:

– Алло?

– Алло, это я! – воскликнул Сэм.

– Извините, какой номер вам нужен? – спросил мужской голос.

– Папа? Это ты, папа, это Сэм! – со смехом сказал Сэм.

– Что значит «Сэм»? Какой еще Сэм? Кто вам нужен, мсье? – спросил раздраженный голос (наверное, родители Сэма обнаружили, что он исчез, и пережили страшную драму).

– Я, Сэм! – повторил Сэм. – Ой, нет, да, погоди! Ты не поймешь! Подожди! Я скажу «Ух!», и готово! Теперь ты меня узнаешь? – сказал Сэм (который снова заговорил голосом семилетнего мальчика).

– Сэм! – произнес потрясенный отец. – Сэм? Так это ты!.. Но где ты, малыш?

– Просто теперь я могу становиться большим, когда захочу! – весело объяснил Сэм. – Поэтому я звоню вам домой. Классно, да?

96

– Сэм! Сэм! Умоляю тебя! Где ты? Кто с тобой? Кто тот дядя, который говорил только что, когда я снял трубку? Кто-то... кто-то тебя... увел, Сэм?

– Да нет же, это я! – сказал ошарашенный Сэм. – Понимаешь? Сегодня ночью, когда я был у себя в комнате, один дядя рассказал мне, как стать большим! А ты не видел деньги на буфете? В кухне? Это я положил! Мне нужно просто сказать «Ай!», и я вырастаю, а потом они торчат из кармана! (Последнюю фразу Сэм произнес, разумеется, своим взрослым голосом.)

– Мсье, – сказал папа Сэма, – мы с женой действительно обнаружили примерно пятьдесят тысяч франков в том месте, которое вы указали. Но я ничего не понимаю! Мы ничего не понимаем! Если вы похитили Сэма, заберите свои деньги и верните нам нашего сына! Объяснитесь, умоляю вас!

– Так это настоящие деньги? – удивленно спросил Сэм.

– Что за вопрос! – удрученно вздохнул отец. – Вы похищаете моего сына, платите за него, как за товар, и теперь спрашиваете у меня, не фальшивые ли это деньги? Но мне плевать на это! Мой сын не продается!

Реакция отца начинала уже казаться Сэму нелепой. А как же кошелек матери?

– Послушай, папа! – сказал Сэм. – Ты и правда глупый! Я сейчас приду домой и покажу тебе, раз ты не веришь!

И Сэм повесил трубку. Он вышел из кафе и тут же стал в тупик: он не знал, как вернуться домой. С ним здесь никогда не гуляли. Как называется улица? Ах да, он спросит у кого-нибудь.

Наконец ему объяснили дорогу, и он добрался до своего дома. Он вошел таким, как был, то есть взрослым человеком, и толкнул дверь. В прихожую выскочил отец.

– Ну что, папа? – сказал Сэм. – Теперь ты видишь, да?

– Это вы! Это вы! Я узнал ваш голос! – закричал отец Сэма, набросившись на молодого человека. – Вы забрали у меня сына! Подлец! И вы посмели... вы посмели...

Он схватил Сэма и ударил его по лицу, обезумев от ярости.

– Папа! – закричал Сэм. – Папа! Да перестань же! Это я! Я! Сэм!

И так же, как незадолго до этого в комиссариате, Сэм наконец вспомнил и крикнул: «Ух!» Он снова стал тем, кого родители могли узнать – маленьким ребенком с избитым лицом. Тем, кого они любили. Остолбневший отец попятился на целый метр.

– Сэм! Сэм! – воскликнул он. – Но я схожу с ума! Сэм! – и он позвал жену, которая находилась неподалеку и тоже сказала: «Сэм!»

– Ну ладно, ай, ай и ай!.. Сука! – завопил разъяренный Сэм, обливаясь слезами, и тут же снова стал большим. – А теперь, сволочь! А? – крикнул он.

– Послушайте... или, точнее, послушай, Сэм, или кто ты там, – сказал отец, окончательно запу-

тавшись, – ты не мог бы... э-э... снова стать маленьким и спокойно нам все объяснить? Я... готов тебе поверить, Сэм, мы сделаем все возможное... я... но только для начала стань таким, как прежде, пожалуйста! Стань нашим сыном! Тогда я тебе поверю... и смирюсь со всем!

98 И мать Сэма заплакала, словно ее ребенок скоропостижно скончался прямо у нее на глазах. Эти крики бесили Сэма, и он сказал: «Ух!». Мама тут же накинулась на него, стиснула в объятьях, осыпала поцелуями. А отец с угрюмым лицом и поникшим взглядом уселся на соломенный стул, украшавший прихожую.

Тогда Сэм постарался объяснить как можно доходчивее. Он рассказал о старом ночном волшебнике, звездах, желании, круассанах, деньгах, Марианне и побоях! При этом он так возмущался, что даже заплакал, стиснул зубы и стал бить кулаком по стене, но потом взял себя в руки и не крикнул: «Ай!», хотя руке было очень больно.

Родители слушали молча, в полной прострации. Конечно, они не верили в чудеса или волшебство. Они даже никогда не водили Сэма к психотерапевту, несмотря на его непримиримый, непокорный дух. Словом, Сэму пришлось десять раз становиться у них на глазах то большим, то маленьким, чтобы они наконец смирились со своим горем.

– Я никогда не смогу! Никогда! – жалобно повторяла мама Сэма всякий раз, когда тот принимал вид красивого парня двадцати пяти лет (или около того). И она обнимала его, словно воскресшего из мертвых, всякий раз, когда он снова становился маленьким.

Но родителям Сэма пришлось с этим свыкнуться. Приснившийся волшебник не уточнил, награ-

дил ли он Сэма своим страшным даром временно или навсегда. В любом, даже самом крайнем случае, это должно было закончиться, когда Сэм (Сэм-маленький, как его теперь называли, дабы отличать от «другого») вырастет и, стало быть, сольется со своим двойником.

Сэм не понимал, почему родителям он больше нравился маленьким. Конечно, за столом это обходилось дешевле, но спал-то он в своем маленьком состоянии, так что пока еще незачем было покупать длинную кровать. Тем не менее, с Сэма взяли обещание, что он никогда – никогда-никогда – не будет показываться «большим» на улице, в школе или в сквере, что это останется семейной тайной и что он никогда не будет менять свой рост из-за вредной учительницы, разборчивой девочки или драчливого дружка! Сэм пообещал, цедя слова сквозь зубы. С каждым днем взрослое тело устраивало его все больше и больше, и поскольку чудо с пачками денег, похоже, было таким же бесконечным, как и все остальное, он стал вести после школы вторую жизнь во взрослом облике, о которой никто не знал.

Шли годы, одно Рождество сменялось другим, и наконец пришлось признать очевидное: дар, полученный Сэмом, оказался вовсе не тем, чем он казался.

Со временем Сэм-большой нормально старился (если судить по внешнему облику) и достиг примерно лет тридцати. Но зато Сэм-маленький не рос вообще: он навсегда остался семилетним. И когда нужно было поменять его кровать, и впрямь отслужившую свое, ее заменили кроватью такого же размера. Ну и, конечно, Сэма-маленького не стали отдавать в школу. Смирившись со своей судьбой, он учился заочно. Нужно было только

определился, в каком облике он будет сдавать выпускной экзамен – не по годам развитым мальчонкой или отстающим в развитии взрослым.

Однако еще до того, как была назначена дата экзамена, Сэм бесследно исчез. Устав быть семилетним у себя дома и тридцатилетним во всех других местах, он решил оставить свое детство только для себя самого, и говорить «Ай!», принимая взрослый облик перед каждым, кто не был ребенком семи лет (или около того).

100

На это Рождество родители Сэма почувствовали себя такими измученными, обокраденными, одинокими и ненужными, что решили завести нового ребенка, который, возможно, от них не сбежит.

Ну а Сэм тем же вечером снял роскошные апартаменты в дорогом отеле, купил елку, игрушки, сладости, шоколад и не забыл о шампанском для своего двойника. Затем, когда наступила ночь, он запер дверь на засов, сказал: «Ух!» и снова стал Сэмом-маленьким.

В тот вечер он впервые полюбил Рождество.

ТУПОГОЛОВЫЙ МАЛЬЧИК

*По мотивам
«Тысячи и одной ночи»*

Жил да был король, величайший король, король по профессии, и звали его Великолепный Кол. Он правил со славой седьмым островом седьмого моря, и многочисленные подданные говорили о нем:

– У нас есть король, величайший король, король по профессии, и он правит во славе!

Однажды этот король устал от любви и женился на женщине. И произвел он на свет сына. И ребенок был таким красивым, светлым и нежным, что назвали его Лунным Светом.

Долго ли коротко ли – принцу Лунному Свету исполнилось пятнадцать лет: и красота его, перестав быть бесконечной, превратилась в оазис. И вдруг ощутил он муки желания.

«Как странно, – подумал король-отец. – Но посмотрим, что ему поможет».

Гарем короля насчитывал триста шестьдесят мальчиков – по одному на каждое утро, триста шестьдесят подростков – по одному на каждый полдень и триста шестьдесят молодых людей – по одному на каждый вечер. (В той древности годы были не такими длинными, как сейчас.)

Король привел сына в гарем, слуги склонились перед подростком и молвили:

– Добро пожаловать, о Велоликий!

Ибо таково было прозвище, которое народ, восхищенный его красотой, дал принцу Лунному Свету.

И вот принц совокупился сначала с тремястами шестьюдесятью мальчишками, а затем сказал:

– О ребенок, похожий на арбуз, который писает, пока его порывисто буравят!

Затем принц совокупился с тремястами шестьюдесятью подростками и сказал:

104 – О бабушка-овца в солнечных лучах, о тысячи овец, о старушки, о перечницы!

Затем он совокупился с тремястами шестьюдесятью молодыми людьми с большими членами и сказал:

– О осел, на тебе ли восседает принц? О принц, на тебе ли восседает осел?

И снова впал принц в уныние, а король захоал:

– Еще не успев как следует расцвести, сын мой, ты занимался любовью наравне с нами. Почему же теперь ты испытываешь муки желанья?

– Просто мне больше ничего не хочется, – объяснил Лунный Свет.

Король предлагал ему мартышек, кроликов, фиги, рыб, легкие, слойки, ящерицу, лягушку, газель, королеву, короля, собаку, горшок с нечистотами, сахарную голову, шербет, тарелку риса со сливками и корицей, саблю, клизму, череп, горькую тыкву, зеркало, кол.

Но Лунный Свет с грустью отказывался и лишь качал головой: его любовь к невесть чему была безутешна.

Принц чахнул на глазах. Изысканные кушанья, рифмованные стихи, даже танцы оставляли его равнодушным. Он ненавидел день и ночь, рассвет и сумерки, пустыню и озерную зыбь, полдень и затмения. Он перестал мыться и расчесываться, ходил в рваной одежде.

Видя все это, народ роптал:

– Лунный Свет больше не похож на луну в четырнадцатый день! Он не похож даже на луну в двадцать девятый день! Его лицо высохло, будто куриные лапки ведьмы Чирейщицы – будь она проклята!

Отчаявшийся король приказал разгласить по всему королевству, что всякий, кто найдет лекарство от уныния принца, получит драхму, а всякий, кто не найдет его, будет посажен на кол!

105

Это известие привело обитателей седьмого острова в растерянность.

Но у юного Лунного Света была добрая душа, и он подумал, что если король казнит всех своих подданных, королевство потеряет всякую цену, когда он сам его унаследует. Поэтому принц сделал вид, что развеселился и даже выздоровел, пока все подданные являлись ко дворцу и предлагали забавы или грубые шутки собственного сочинения. Так было роздано множество драхм, а кол остался сухим.

Но по ночам принц заливал свою шелковую постель слезами, а лицо его становилось желтым, точно влагилице отвергнутой верблюдицы!

Король только диву давался:

– Как так! Все мои подданные сумели тебя развлечь, а лицо у тебя желтое, точно влагилице отвергнутой верблюдицы!

– Это так, – ловко возражал Лунный Свет, – но уверяю тебя, государь мой отец, без них я давно бы умер!

– Ну что ж, – сказал наконец король, – сходи прогуляйся на рынок!

Когда ни мудрость, ни деньги, ни кол не помогали разрешить проблему, монарх прибегал к этому последнему средству.

Итак, принц Лунный Свет пошел на рынок. Его отовсюду окликали наглые торговцы, которые не узнавали в этом несчастном Велоликого. Принц вежливо отклонял домогательства бесстыдных бурильщиков, которые тоже его не узнавали. Затем, устав от криков, телодвижений и пестроты, он добрался до нищенского квартала, рядом с разделщиками туш, дубильщиками и охрянными глинобитными стенами и, пожелав отдохнуть, попросил о гостеприимстве владельца небольшой лавки.

В глубине лавки сидел старик, который тихо поздоровался с ним, дал шаткий табурет, но не предложил ничего – ни товаров, ни секса.

Эта скромность поразила принца и разожгла его любопытство.

– О старик, отец Стариков, почему ты не предлагаешь мне ничего – ни товаров, ни секса?

– Можешь поздравить себя с тем, что назвал меня отцом Стариков, – ответил тот, – иначе я бы с тобой расправился!

Ибо этот старик на самом деле был джинном, точнее, предводителем джиннов, который принимал облик старика, дабы спокойно посидеть в жаркие часы под тростниково-пальмовой крышей – в чудесной прохладе, царившей в квартале разделщиков туш, где ему составляли компанию лишь бесчисленные мухи.

– Как мне заниматься торговлей и деньгами, – сказал мнимый старик, – если мой желудок скукожился, точно сухой инжир? И как мне заниматься сексом, если «сын моего отца» грустно колотит меня по коленям?

– О достопочтенный аскет! – прошептал принц и подошел, чтобы поцеловать край его обтрепанного рублища.

– Тем не менее, принц Лунный Свет (ибо я знаю, кто ты), по городу бродит слух о некоем юноше, который не любит ни мальчиков, ни подростков, ни мужчин... Но я-то знаю, что ему нужно, и мог бы помочь найти.

– Так, значит, ты узнал меня, хотя мое лицо пожелтело? – удивленно воскликнул принц. – Тогда я должен признаться, что никого не ищущу: меня мучит одно желание! Но говори же, достопочтенный!

107

– Принц Лунный Свет, ты не стал бы утверждать, что никого не ищешь, если бы знал об одном маленьком ребенке.

– Гм, – хмыкнул Лунный Свет.

– Он прекрасен, как лилия, весел, как ручей, и нежен, как шоколадный мусс...

– Гм, – хмыкнул Лунный Свет.

– Он храбр, как мужчина, но у него белый и гладкий член. Он горяч, как подросток, но благоухает, точно сады Господни. Он чувственный, словно младенец с жемчужными зубками, но различные его отверстия не страдают недержанием...

– Гм, – хмыкнул Лунный Свет.

– Маленький мальчик, наделенный вечным детством и душой, расцвеченной мечтами и стихотворениями. Его голос журчит, будто родники на Острове кувырков, будто фонтаны в Саду качелей и будто крики хмельных птиц на Дереве дудочек!

– Замолчи! – внезапно перебил юноша. – Теперь я узнал ребенка, которого ты описываешь: это чудесный Тупоголовый Мальчик! О старик, отец всех Стариков, зачем ты заставляешь меня страдать? Ведь всем известно, что Тупоголового Мальчика не существует.

И на впалые щеки Велоликого брызнули слезы из самых глубин его души. Но джинн, предводитель джиннов, достал из своих шаровар крошечный футляр и, раскрыв его, сказал принцу:

– Вот Золотая игла. Воткни ее в кресло у себя в комнате. Да убедись в том, что она повернута ушком вниз! А потом сделай то, что сделаешь, и встретишься с Тупоголовым Мальчиком.

108

Потрясенный Лунный Свет взял Золотую иглу, приколол ее к воротнику, попрощался со стариком и со всех ног бросился к королевскому дворцу.

В самом деле, кто не знает легенду о Тупоголовом Мальчике? Кто не слышал, как восхваляют его сверхъестественную красоту и крепкие ручки? Кто не грезил о его невероятных стихах, обворожительном голосе и божественных песнопениях, от которых все падают на задницу, ерзают, писаются и проливают от счастья слезы, что слаще шербета из ююбы?

Когда король увидел, как к нему мчится Лунный Свет (лицо румяное, глаза горят, губы изогнуты в улыбке, лодыжки тонкие, как у газели!), он встал, обнял сына и сказал:

– Лунный Свет, мальчик мой! Неужели ты исцелился?

– Государь мой отец, выслушай меня внимательно! – воскликнул юный принц в приливе радости. – Теперь я знаю, что мне нужно. Я женюсь на Тупоголовом Мальчике.

От этих слов душа короля Великолепный Кол омрачилась, и он упал в обморок.

Слуги кинулись к нему, уложили на диван и омыли его лицо розовой водой, апельсиновой водой и коловой водой. Наконец он пришел в чувство.

– Лунный Свет, сын мой, о пушистая, пусть небольшая, соловьиная головка! – пробормотал

король. – Как же ты хочешь жениться на Тупоголовом Мальчике, если ты знаешь, и я знаю, и все эти люди знают, что Тупоголового Мальчика не существует! Его не существует! Это просто легенда, выдумка Мастера ворованных историй – будь он неладен!

– О нет, государь мой отец, Мальчик существует! Он существует! И вот доказательство – чтобы встретиться с ним, достаточно пройти через это игольное ушко!

109

Тогда король разодрал свои щеки, собрал свою бороду в две пригоршни, поломал свои зубы о корону, в которую с горя вгрызся, и запричитал:

– Мой сын лишился рассудка! Увы мне! Теперь у Лунного Света мозгов не больше, чем у мухи (о, развратные дочери сатанинские)!

И приказал он закопать себя по самую шею на площади Ежедневных козней, дабы заглушить физическими страданиями страшную моральную боль. Но это не помогло. Тогда повелел он всем жителям города собраться на площади и топтаться на его голове. Но и это не помогло. И тогда разрыдался он горячими слезами.

«Мой отец сошел с ума! – одновременно подумал принц Лунный Свет. – Я собираюсь жениться на Тупоголовом Мальчике (о, чудесный, бессмертный малыш!), а он зарывает себя по самую бороду, и народ топчется по нему, а он рыдает. Настоящий безумец – а еще король по профессии!»

И народ на площади зароптал:

– Взгляните – это же наш король! Посмотрите на него! Он заставляет топтаться у него на голове! А его сын, Велоликий, хочет пройти сквозь игольное ушко! Проклятие!

Сколько горячности, сколько скорби...

Ну а Лунный Свет поднялся к себе в комнату и старательно приколот Золотую иглу посреди-

не своего кресла. Потом он сел напротив и стал ждать, обложившись бархатными подушками и одеялами на гусином пуху, но ничего не происходило.

– Отец Стариков обманул меня! – наконец воскликнул Лунный Свет.

110 И тогда его охватил гнев, он заметался по комнате, точно разъяренный медведь, приговорил к посажению на кол слугу при двери, слугу при задвижке, слугу при дверных петлях и слугу при коле. И стал он биться головой о стену, и рвать на себе одежду, и чулки, и красивые кальсоны в зеленую полоску, о которых поэт сказал:

«Очи твои, Лунный Свет, подобны янтарному соку пылающих небесных апельсинов, что утоляют жажду смертного путника, – о, сок!»

Улыбка твоя, Лунный Свет, подобна лукавому веку молоденького слона, продолжению его хобота – о, веко!

Зад твой, Лунный Свет, подобен чашечке, откуда напивается болтливая пчела с покрытыми растительным золотом ляжками, – о, чашечка!

Но твои кальсоны в зеленую полоску, о Лунный Свет, подобны раю воителей! И детской соли! И мечтательным душам влюбленным! И храму Наследия! И равноденствию! О, необъятные, блистательные кальсоны, о полоски! Какие кальсоны!»

Как бы то ни было, Лунный Свет порвал свои кальсоны в зеленую полоску и содрал бы с себя даже кожу, будь у него острые ногти. Так он бушевал и суетился, пока в изнеможении не рухнул в кресло.

И, словно по волшебству, Золотая игла напомнила о себе: принц подскочил и выкрикнул что-то на неизвестном языке.

И вслед за этим криком в комнату ворвался крылатый конь: масть его была серебристая, крылья золотые, глаза сапфировые, а во лбу горел алый камень в форме звезды.

– Лунный Свет, мой прекрасный, отважный повелитель, – сказал конь, – ты призвал меня, и вот я здесь!

III

В полнейшем изумлении, юный принц выдернул иглу из того нежного места, куда она вонзилась, погладил коня, чтобы убедиться, что это не сон, и конь заискрился под его прохладной рукой. Тогда юноша спросил:

– Куда же мы направимся, самый отважный из отборных скакунов?

– Я повинуюсь тому, – ответил конь, – кто изволил жениться на Тупоголовом Мальчике (моем прекрасном друге и младшем брате)!

Тогда Лунный Свет умылся, расчесал свои пышные локоны и облачился в вышитое платье, приятное безволосому телу, и новые изумрудно-перламутровые кальсоны. Он обул лимонно-желтые сандалии, приколот Золотую иглу к воротнику и, потребовав котомку со съестными припасами и питьем, сел верхом на крылатого коня – без поводов, седла и шпор. Принц обнял серебристую гриву, погладил изогнутые золотые крылья, и счастливый конь выпорхнул в окно.

Быстрее вихря пронеслись они над семью островами седьмого моря, и над всеми другими островами, и над всеми другими морями. Красивый отважный юноша и конь с крепкими боками – вскоре они уже далеко отлетели от этого мира, который казался там внизу крошечной ле-

пешкой, посыпанной кунжутными зернышками, да к тому же слегка заплесневевшей.

112 Когда они вырвались за пределы этого мира, конь мягко опустился в саду с множеством цветов и деревьев, полном праздных певцов и изрезанном быстрыми говорливыми ручьями, над которым сияло весеннее солнце – резвое и пыльное, будто поцелуй ребенка. Здесь простирались бархатистые лужайки, напоминавшие своей нежностью освященные любовью ляжки, а цветом – кальсоны Лунного Света! И ветерок легче птичьего пенья ласкал птиц, цветы, деревья, лужайки и солнце.

– А теперь, – пояснил конь, – если хочешь совета, я тебе его дам. Спрячься вон за той купой деревьев и подожди, пока к фонтану не придет Тупоголовый Мальчик (мой прекрасный друг, мой младший брат!). А потом сделай то, что сделаешь! И когда захочешь снова меня призвать, просто возьми Золотую иглу – ты уже знаешь, как с ней обращаться.

И крылатый конь исчез.

Юный принц подошел к фонтану, встал на колени, благоговейно поцеловал его край, которого, возможно, скоро коснется Тупоголовый Мальчик, а затем спрятался за кустом и стал ждать.

Вскоре послышался негромкий шум шагов, и появился необыкновенно красивый мальчуган лет восьми-девяти. Его взъерошенные, прямые, короткие волосы, ослепительные, точно солнце в зените, были усыпаны пылью и сухими травами; его щеки, белее камфары и розовее роз, были испачканы шоколадом, землей и томатами; в уголках его глаз, больше, радостнее и резвее хрустального родника для измученного жаждой, чернели маленькие точки помета; его силуэт, стройнее,

полнее и гибче апельсиновой ветви, на которой качается плод, был опоясан ремнями с нескромными прорезами; а его ладони, нежнее шафранового стебля, были такими же грязными, как и его ступни. Своим детским голоском он сочинял и тут же декламировал вдохновенные стихи:

По тропинке
Я пошел
И трех кроликов нашел!

113

Сунул в шкаф
Я одного,
Говорит мне:
«Тут темно!»

Сунул в ящик
Я другого,
Говорит он мне:
«Здорово!»

Сунул третьего
В матрас,
Говорит:
«Который час?»

Я поднес
Его к соскам,
Он наделал стыд и срам!

Посадил
Себе на спину,
Он погрыз мою зернину!

Посадил его
В трусы,
Он сжевал мои усы!

Зря я
Мимо не прошел,
Когда кроликов нашел!

Едва услышав сии божественные строки, юный принц понял, что это Тупоголовый Мальчик, и от счастья упал в обморок.

114 Когда Лунный Свет пришел в чувства, Тупоголовый Мальчик уже сбросил свои лохмотья и нырнул в бассейн, где он принимал чудесную освежающую ванну, поливая себе голову из туфли. Мальчик чесал уши, нос, уголки глаз, волосы и все сокровища своего совершенства, растирал себя снизу доверху с настойчивостью, кульбитами и плутовством дельфина, который, плавая у берега, зовет юношу поиграть на веселых волнах.

Попутно Тупоголовый Мальчик сочинял благозвучные стихи и аккомпанировал себе, шлепая ладонью по своей подошве на упругой поверхности воды:

Поутру
Я присел

И покакать
Захотел!

Ветер дул,
Трепал рубашку

И качал
Мою какашку!

Поутру
Не быть добру,

Если какать
На ветру!

Если какать
На ветру!

Тогда Лунный Свет не выдержал и осторожно, чтобы не напугать маленького мальчика, вышел из своего укрытия.

– Приветствую тебя, о Тупоголовый Мальчик, о бессмертный малыш! – сказал он, сделав широкий реверанс перед чудесным ребенком, прекрасным, как лилия, родник и шоколад. И бриллианты на его платье робко засверкали, пока он подходил к фонтану, в котором блистал ребенок.

115

– Ага, привет! – сказал Тупоголовый Мальчик. – Я проголодался! Дай мне пирожок!

– Вот, о отрадный лик! – ответил Лунный Свет, достав пирожок из своей котомки.

– Да нет, не этот! – сказал Тупоголовый Мальчик.

– Какой же ты хочешь? – спросил принц.

– С улиточным маслом! Да поскорее!

К счастью, у юноши было несколько таких пирожков, которые умел печь только повар короля – единственный из смертных.

– Вот, о вечность узкого подъема ноги!

– Хорошо. Годится. А теперь вытаци меня из воды. Да поскорее!

И, подобно апрельскому солнцу, что невинно пронзает пелену дождя, ребенок показался из воды на руках принца и выпрямился во всем своем блеске на краю фонтана. От избытка чувств у ослепленного принца потемнело в глазах. И он вытер маленького мальчика простыней из белых перьев, марлей из продолговатого миндаля, покрывалом из расплавленного сахара, шалью из

голубинового дыхания. Затем Тупоголовый Мальчик прыгнул с края фонтана и сказал:

– Хорошо. Годится. А теперь дай мне пирожок с улиточным маслом!

– Вот, о ширь из ширей!

116

Пока ребенок ел и попутно щипал себя то за одно, то за другое яичко, считая: «Раз, два, три, пять! Семь, шесть, одиннадцать, двенадцать! Шестьдесят!», принц рассказал ему о волшебном путешествии, которое совершил, чтобы встретиться с ним, Мальчиком из мальчиков, и чтобы услышать его сладостный голос и стихи, слава о которых докатилась аж до седьмого острова седьмого моря.

– Хорошо. Годится. Тогда послушай эти! – сказал Тупоголовый Мальчик. И он сочинил стихи, смеясь и поочередно шлепая ладошками по своим ляжкам и по груди Велоликого:

Мальчик
Спал,
Он
Лежал –
Резво ножками мотал!

Глядь –
Ура,
Между ножками дыра!

Глядь
На зад –
Только пятки мельтешат!

Мальчик
Спал
Или просто так лежал!

– А теперь дай мне, пожалуйста, пирожок с улиточным маслом, – сказал ребенок.

– Вот, о сахарные уста, о гибкая шея, изогнутая медовой слезой!

– Хорошо. Годится. А теперь мы поженимся, – постановил Тупоголовый Мальчик.

Как раз рядом с фонтаном был шелковистый, мягкий газон, под деревьями с плодами на ветках и с благоухающей тенью. Принц Лунный Свет осторожно отнес туда мальчугана, и бережно, как это принято между мальчиками, они сделали то, что сделали. Как только они закончили, Тупоголовый Мальчик воскликнул:

117

– Хорошо. Годится. Но мне бы очень хотелось пирожок с улиточным маслом!

Потом они сделали это еще раз, после чего ребенок сочинил такие дерзкие стихи:

А ты видал
Мой карандаш?
Такой большой,
Что страшно аж!

Ну что, видал
Мой агрегат?
Я загоню
Его в твой зад!

И они тут же сделали то, что сделали, после чего мальчуган сказал:

– Хорошо. Годится. Но, может, у тебя случайно заваялся пирожок с улиточным маслом?

Подкрепившись, они решили сделать то, что сделали. Но когда маленький мальчик снова захотел пирожок, юный принц обнаружил, что пирожков у него больше нет.

– Хорошо. Годится. Тогда дай мне попить.

Лунный Свет достал золотой пузырек, украшенный драгоценными камнями, и протянул ребенку. Тот поднес его к губам, но в отвращении выплюнул выпитое и закричал:

– Эй ты, сын тысячи Содомитов! Навозный глаз! Старушечье очко! Носовой кал! Я не хочу это пить! Это сок ужиной жопки! Дай мне настоящий чипсовый сироп! Желтый! Да побольше сахара!

118

У юного принца случайно оказался пузырек с чипсовым сиропом – настоящим, желтым, очень сладким. Тупоголовый Мальчик осушил его одним махом и сказал:

– Дай мне еще один.

– У меня больше нет, – признался юный принц.

– Хорошо. Годится. Тогда немного поженимся.

И они сделали то, что сделали, под деревом с плодами, которые отбрасывали круглые ароматные тени.

Затем ребенок, просияв от радости и захмелев от чипсового сиропа, сочинил такие непристойные стихи:

Язык в очке,
Бедняга, взмок!
На языке
Лежи, дружок!

Елда в очке,
Еще прыжок!
И ссыт в руке
Мой петушок!

Эти стихи напомнили о том, чтобы они сделали то, что сделали. Затем они продолжили обмениваться волшебными страстными ласками до самых сумерек, петь и восхищаться друг другом.

Но потом они увидели робкие белые и голубые облачка наступающего вечера, и маленький мальчик сказал:

– Хорошо. Годится. Теперь возвращайся к себе домой. А я спешу, потому что мне нужно вернуться домой к себе.

– Но где ты живешь, о легенда! Разве у душ есть крыша над головой?

– Где я живу? Я-то? – насмешливо переспросил маленький мальчик и вместо ответа сочинил такие замысловатые стихи:

119

У Дяденьки-педрилы
Жопень, как у гориллы,
Он лижет мне яички,
В душе щебечут птички,
Когда он начищает мне древко!

Потом трусы снимает,
Мой болт в очко вставляет,
Подходит близко-близко,
Хватает за пипиську –
Оттуда сразу брызжет молоко!

– Правда, молока у меня нет, – скромно признался маленький мальчик. – Но я бы мог это сделать. Я уже писаю на него.

Ведь человек, которого он высмеял, был ни кто иной, как величайший поэт тысячелетия, тот самый, что научил его искусно слагать ритмизованную похабщину: Мастер ворованных историй – о бессмертный, чудесный, великий!

Этот мастер согласился взять одного-единственного ученика из миллионов мальчишек и артистов, стремившихся попасть к нему в обучение. Ведь он удалился от людей из любви к ним. И этим

учеником был Мальчишка из мальчишек – Тупоголовый Мальчик!

Тогда принц Лунный Свет, поразившись, что на том свете можно встретить знаменитостей, которых почитают на этом, выразил желание увидеть учителя бессмертного ребенка. Но Тупоголовый Мальчик возразил:

– Нет. Не годится. Мы уже поженились. Теперь возвращайся к себе домой.

120

– О небесный язык между моими зубами, конфитюр моей утробы, головастик моего сокровенного отверстия, о Тупоголовый Мальчик, жизнь моя принадлежит тебе! Соблаговоли принять ее!

– Нет. Не годится. Уходи, до свидания!

И эти слова чрезвычайно огорчили юного принца. Он не знал, что простые смертные имеют право всего на один день супружеской жизни с Тупоголовым Мальчиком (ибо таков закон этого необычного мира). А Лунному Свету хотелось наслаждаться утехами хотя бы дня три, как это заведено у молодоженов.

– О око в моем оке, сердце в моем сердце, пупок в моем пупке, яички в моих яичках, о Тупоголовый Мальчик, позволь мне остаться с тобой хотя бы на три дня, как это заведено у молодоженов!

– Да нет же. Мы уже поженились. Так не годится. До свидания!

– О мед на медвежьих губах, о алая звезда кактусового цветка, о маслянистый жир мушиного брюшка, о сладостное дитя! О сопля в ноздре, косточка в абрикосе, нектар клевера, благовонный сироп из кедровой коры, о слабительное! Позволь мне остаться с тобой хотя бы на один день!

– Да нет же, – ласково ответил маленький мальчик (даром что был он тупоголовым). – Но если хочешь, можешь дать мне пирожков с улиточным маслом. Хочу тебе признаться: я просто обожаю их!

– О дитя! Но ты же знаешь, что у меня их больше нет.

– Ну, тогда ничего не поделаешь.

Юный принц почувствовал, как смерть застилает его глаза и сжимает грудь, и сказал:

– О сладкий источник моей горечи! Так, значит, я покину тебя лишь затем, чтобы спуститься во тьму преисподней, ведь моя смерть предсказана в твоих мелодичных речах!

Но бессмертный ребенок лишь перекувырнулся на траве, которую сумерки усеяли червонным золотом, и сочинил такие иронические стихи:

121

Ай-ай-ай-ай!
Почешешь лоб,
Помрешь, и хлоп –
Положат в гроб,
Пути назад
Нет, юркий гад
Сожрет твой зад,
Ай-ай-ай-ай!

Впрочем, он спел этот ответ со слезами на глазах.

– Слезы! О роса, утоляющая жажду олененка с капризными копытцами, пока он наслаждается жизнью в волнующих рассветных лугах! Но ты сказал «до свидания», Претупоголовый мальчик! Значит, я смогу вернуться?

– Да нет же, это невозможно, – сказал ребенок.

– Тогда я послушаюсь тебя, – прошептал отчаявшийся принц. И его лицо выразило столько грусти, что маленький мальчик сочинил стихи и прочитал их смешным ломающимся голосом, вытирая глаза тыльной стороной ладони:

О, очко
Глубоко,
Как тебе
Без трико?

О, очко
Широко,
Как тебе
Молочко?

122

Все у него перемешалось – плач, смех, воздушные поцелуи, а принц Лунный Свет, уколов себя, чтобы вызвать волшебного коня, сел на него и исчез в легких небесных облаках.

Вскоре он снова вернулся на Землю, пересек моря и материки и добрался до седьмого острова седьмого моря. И пришел он во дворец короля, своего отца, которого тем временем выкопали и который устроил большой праздник в честь возвращения и выздоровления Лунного света – своего горячо любимого сына.

В соответствии с правилами вежливости, никто не проронил ни слова, пока они не вкусили яства, не оценили по достоинству забавы, не осушили множество графинов старого вина и не смягчили горло рубленным ванильным снежком с Пчелиной горы. Тогда-то король и спросил юного принца:

– Неужели я должен поверить, сын мой, что ты действительно нашел Тупоголового мальчика, пройдя сквозь игольное ушко?

– Да, государь мой отец, я не лгу (клянусь своими яичками!): я нашел его! И он был красив, как лилия, весел, как ручей, и нежен, как шоколадный мусс! У него белый и гладкий член, и он горяч, как подросток, благоухающий, точно сады Господни. Он чувственный, словно младенец с жемчужными

зубками, и различные его отверстия не страдают недержанием. Его бессмертный голос журчит, будто родники на Острове кувырков, будто фонтаны в Саду качелей и будто крики хмельных птиц на Дереве дудочек! И я женился на нем! Я женился на нем! И вот теперь я здесь.

– И ты был счастлив? – спросил король.

– Да, государь мой отец, был, – вздохнул Лунный свет.

– Не вздыхай, лучше один раз, чем вообще ни разу, – вздохнул старый король.

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications»
можно приобрести в Москве:

«Фаланстер» Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Москва» ул. Тверская, д. 8
«Циолковский» Новая площадь д.3/4
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус» Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
«Индиго» ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Dodo» Таганская ул., 31/22

124

через Интернет:

«Ozon» ozon.ru
«Книга» kniga.ru
«Esterum» esterum.ru
«Petropol» petropol.com
«Болеро» bolero.ru
«Чакона» chaconne.ru
«Международная книга» mkniga.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

на Украине:

«Либра» librabook.com.ua

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА С. ПЕТЕРБУРГА.

По вопросу оптовых продаж обращаться в
ооо «Берроунз», тел. (495) 971-47-92
Национальный книжный дистрибьютор
«Книжный Клуб 36.6», тел. (495) 926-45-44

Все книги нашего издательства можно заказать
наложенным платежом в редакции на сайте kolonna.org

Тони Дювер
ОКОЛОТОК

Kolonna Publications

Россия, Тверь, улица Брагина, 6, офис 301

Подписано в печать 14.06.2013 Тираж 665 экз. Заказ № К-152.

Формат 70 x 100/32. Объем 3,5 п.л. + цветная наклейка 0,5 п.л.

Гарнитура itc Charter

Отпечатано в типографии НЕРПА (Народный Единый
Российский Православный Альманах) К-152, 692809 Россия,
Приморский край, г. Большой Камень,
улица Жён Подводников, 10